

Райнер Мария Рильке

ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Записки
Мальте
Лауридса
Бригге

Райнер Мария Рильке · Записки Мальте Лауридса Бригге





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Rainer Maria Rilke

Райнер Мария Рильке

Записки Мальте Лауридса Бригге

Роман

Новеллы

Стихотворения в прозе

Письма

Перевод с немецкого

*Составление и предисловие
Н. Литвинец*

Москва
«Известия»
1988

И (Австр)
Р 50

Рецензент Н. С. Павлова

Обложка художника А. Верцайзера

© Оформление, составление, предисловие,
перевод на русский язык издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1988

Предисловие

Не будет, пожалуй, преувеличением сказать, что имя замечательного австрийского поэта двадцатого века Райнера Марии Рильке (1875—1926) обрело в нашей стране совсем особое звучание. За два последних десятилетия вышло несколько его поэтических книг, имели место публикации в «тиражных» литературно-художественных журналах, молодое поколение переводчиков искало свои пути к его на первый взгляд *непереводимой* поэзии, стихи Рильке великолепно вписались в исполненную высокого трагизма и философичности Четырнадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича, в недавно вышедшем томе прозы Бориса Пастернака читатель вновь встретил знакомое имя: юному Пастернаку довелось видеть Рильке в России, на пороге начинавшегося тогда бурного столетия... Да, Россия. Вот и произнеслось в первый раз это слово в статье об австрийском поэте. И нет, пожалуй, ни одного сколько-нибудь серьезного эссе, ни одного исследования творчества Рильке, где слово это не употреблялось бы хоть раз в ключевом контексте. Рильке побывал на рубеже веков в России дважды, и путешествия эти во многом определили дальнейшее развитие его таланта. «Россия... мне открыла ни с чем не сравнимый мир, мир неслыханных измерений,— писал Рильке в одном из писем 1926 года,— благодаря свойству русских людей я почувствовал себя допущенным в человеческое братство... Россия стала, в известном смысле, основой моего жизненного восприятия и опыта...»

Быть может, именно в этой русской ноте, столь часто возникающей в творчестве австрийского поэта, таится особое очарование его поэзии для русского читателя? А может, в той исконно присущей и русской литературе тревоге и боли за человека, за мир его души, за мир окружающих его вещей, все более утрачивающих отблеск человеческо-

го, за исчезающую гармонию человека и мира? Не будем гадать и задавать «наводящих» вопросов читателю. Раскрыв маленькую эту книжку рилькевской прозы, он сам сможет ответить на большинство из них, а быть может, задумается над иными, неожиданными. Ибо рилькевская проза, как и поэзия, многозначна, она предполагает разные уровни постижения, неоднократное прочтение, раздумье, но еще и переживание, со-переживание, словом, напряженную работу души. В коротком предисловии возможно лишь наметить направления, по которым должна идти эта работа.

Писать прозу Рильке начал одновременно с поэзией. Еще на исходе девятнадцатого века в родной своей Праге, вступая в литературу и пробуя разные в ней пути, поэт набрасывает несколько новелл, отражающих наиболее важный его жизненный опыт на тот период — наиболее важный и сокровенный. В первую очередь это ранние рассказы, посвященные пяти годам пребывания в начальной военной школе в Санкт-Пёльтене. Хрупкий, мечтательный подросток так и не смог тогда смириться с господствовавшей там атмосферой муштры и опасного духовного равнодушия, годы учения в казарме остались навсегда в памяти как тяжелейшее время жизни. Поэт никогда не обращался к этому периоду в стихах: слишком враждебной поэзии была сама материя, жесткая система воспитания, нацеленная на то, чтоб отбить у юного мечтателя охоту к мечтательности, превратить его в блестящего офицера отживавшей свой век австро-венгерской монархии. В нашем сборнике представлена небольшая прозаическая зарисовка «Пьер Дюмон» (1894) — всего несколько страниц, но как пронзительно, как щемяще звучит в них первый трагический опыт бытия юного поэта!

Острым ощущением трагизма хрупкой человеческой жизни пронизана и «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», написанная в первом своем варианте осенью 1899 года за одну-единственную ночь. В 1904 году Рильке вновь вернулся к новелле и заново отредактировал ее, окончательный текст был опубликован в 1906 году.

Небольшая, но удивительно поэтичная новелла, повествующая об *одном* лишь эпизоде *одной* человеческой жизни на фоне бурного и насыщенного событиями XVII века, вбирает в себя все накопленное к тому времени Рильке-прозаиком, весь его жизненный и поэтический опыт. Вбирает — и выходит далеко за их пределы, поражая отточенно зрелым и блистательным владением словом и предвосхищая Рильке-прозаика уже совсем иного творческого периода, периода работы над романом «Записки Мальте Лауридса Бригге». Сконцентрировать в одном эпизоде всю человеческую жизнь на фоне большой Истории — конечно, Рильке не ставил перед собой подобной задачи. Это пришло незаметно, как бы случайно, словно озарение. А побудительные мотивы были куда проще и скромнее. Возникший еще в военной школе интерес к XVII веку, трудной, жестокой и кровавой поре, которую, однако, его родина преодолела, найдя в себе силы для последующего обновления и мужания, питался еще и сугубо личной приверженностью к теме: Рильке свято верил в семейную версию о древнем дворянском происхождении рода, о знатных некогда, хотя и не богатых предках, прошедших через горнило войн XVII века. Для поэта, всю жизнь отстаивавшего в своих произведениях безусловно демократические идеалы, подобная вера отнюдь не была тайной данью снобизму, она лишь давала возможность непосредственно соприкоснуться с историей, проследить ее движение от самых истоков, и не отвлеченно, но в живом потоке человеческих судеб.

Судьба корнета Кристофа Рильке — лишь маленькая веточка на большом древе рода, но и она органично вплетается в общее движение жизни и истории. Полная драматизма борьба народов юго-восточной Европы за освобождение от турецкого господства вовлекает в себя и его хрупкую жизнь, и вот он уже мчится вместе с другими по венгерским степям, вспоминая с тоскою оставленный дом и одновременно устремляясь всем сердцем навстречу новому, неведомому и жестокому миру. И так же стремительно, как несется навстречу предстоящему сражению

конница генерала Иоганна Шпорка, реального исторического лица, упоминаемого в новелле, так же стремительно взрослеет и эта столь юная еще, почти детская душа. Широко раскрытые глаза восемнадцатилетнего человека вбирают в себя все: и тяготы военного быта, и страшную жестокость войны, особенно в приложении к отдельной человеческой жизни, и противостоящие этой жестокости поразительные проявления доброты и товарищества, и горечь расставания с только что обретенным другом, и зарождающееся новое чувство долга, и новое чувство ответственности. И вот уже откуда-то из глубин души поднимается совсем непривычное, щемяще-нежное отношение к тем, кто остался дома, и страстное желание повидать их на мгновение, хотя бы для того, чтобы попросить прощения за несправедные свои поступки и слова, а еще неведомое прежде мужество, заставляющее лихорадочно мчаться навстречу предстоящей битве.

По общему мнению исследователей, в новелле Рильке изображается один из реальных эпизодов борьбы с турками в середине XVII века — битва при Могерсдорфе в 1664 году. Новелла Рильке поражает еще и точностью исторического фона, складывающейся из отдельных, изящно и умело вставляемых в поэтический контекст реалистических деталей.

Но что еще больше привлекало читателей разных возрастов в «Корнете», это живой и удивительно выписанный, цельный человеческий характер, обретающий в процессе своего становления героические и одновременно трагические черты. Отдых после долгого и изнурительного похода, наслаждение такими незамысловатыми благами, как вкусная еда и возможность вытянуться на чистой постели, а потом стремительно нарастающий праздник и первое зарождающееся чувство, любовь, пройденная за одну-единственную ночь от начала и до конца, до смерти, героической и в то же время такой по-страшному обыденной,— как много судьбы вместила в себя эта последняя ночь корнета, судьбы, которой могло бы хватить на долгие годы! И как

просто, как естественно разворачивает поэт перед читателем этот изначальный трагизм бытия, непредсказуемость и случайность жизни, могущей в любую, даже самую светлую свою минуту выйти на новый, горький и неожиданный, виток! Раскрывает, приемля вопреки всему жизнь как высший счастливый дар, достойный человека. Так протягивается ниточка от «Корнета» к позднейшим произведениям Рильке, к «Дуинским элегиям» и «Сонетам к Орфею» с их всеильным и всепобеждающим “Rühmen” — прославлением жизни и утверждением непреходящей ценности ее.

А пока, в «Корнете», Рильке словно пробует, примеривается к главной своей теме, а заодно пробует и новые возможности языка, возможности формы. С одинаковым мастерством владея поэтическим и прозаическим регистрами, он почти неприметно для читателя переходит из одного в другой, речь его обретает то явно приподнятую, поэтическую окраску, то снова «сбивается» на жесткую прозу, и эта гибкость художественного языка позволяет добиться удивительного единства формы и высказываемого, придает новелле особую цельность, под обаяние которой тут же попадает читатель. Воссоздавая атмосферу XVII века, поэт — сознательно ли, бессознательно ли — обращается к некоторым приемам литературы барокко, и это делает новеллу особенно достоверной художественно. Повышенная экспрессивность языка подчеркивается и ритмом, чутко реагирующим на все изменения в тоне повествования, и резкими контрастами света и тени, и особой ролью цвета. Не случайно эта маленькая новелла была в свое время экранизирована: настолько зримо, настолько вещественно воспринималась каждая ее деталь.

Нельзя не упомянуть и другую жемчужину ранней прозы Рильке, небольшую лирическую новеллу «Победивший дракона» (1902) — параболу о жизни и смерти, об ужасном и прекрасном, связанных некоей скрытой нитью, о бескорыстии и чистоте, дарующих человечеству силы побеждать драконов.

Со своими драконами и по-своему борется и герой романа Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге», главного его прозаического произведения. Над романом поэт работал в течение семи лет, с 1904-го по 1910 год, основная его часть была написана в 1908—1909 годах. При сравнительно небольшом объеме роман поражает огромным «внутренним пространством», масштабностью поставленных и заявленных бытийных проблем. Писался он параллельно с «Новыми стихотворениями», явившими собой вершину зрелого поэтического мастерства Рильке, своего рода «лирическую сумму», по образному выражению самого поэта. А все, что суммированию пока не поддавалось, все «неопределенное», не желающее укладываться в сжатую формулу отточенного рилькевского стиха, требовавшее размышлений более пространных, более насыщенных, столкновения многообразных “pro” и “contra”, — все это находило свое место в романе, рождая в итоге такое сложное, такое динамичное и меняющееся единство.

Итак, герой романа, двадцативосьмилетний датчанин Мальте Лауридс Бригге, последний представитель знатного некогда рода, оказывается в Париже в полном одиночестве и на грани нищеты. В том самом Париже, о котором Рильке писал в письме к Генриху Фогелеру: «Париж? Париж — это тяжело. Каторга». Реалистические картины жизни Парижа отверженных, словно сошедшие со страниц бодлеровских «Цветов зла», ночлежки, воняющие хлороформом больницы для бедных, грохот трамваев, нищие, просящие подавание или за бесценок пытающиеся всучить прохожему какую-нибудь ерунду, — как далеко все это от той идиллической, приближающей к богу бедности, бедности Франциска Ассизского, о котором шла речь в «Часослове», предыдущей книге стихов Рильке. Теперь для поэта уже нет бедности «подлинной» и «неподлинной», идиллической и реальной — бедность едина, и это страшный мир унижения, убивающий душу человеческую.

И действительно, жизнь человека в большом капиталистическом городе уподобляется фабричной продукции,

она теряет главное — свою индивидуальность и неповторимость, свою, если можно так выразиться, феноменальную основу. Люди живут и умирают в городе «фабричным способом», словно ощущая себя частью большой машины. Они не задумываются над личностным, индивидуальным содержанием собственной жизни, торопливо и привычно примеряя к себе готовые образцы. «Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. Господи! Ведь как бывает. Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть».

Что противопоставить разъедающему действию машинной цивилизации на человеческую душу? В какой области духовной культуры возможно отыскать противоядие? Словно утопающий за соломинку, хватается Мальте то за одно, то за другое, мысль его доходит до важнейших первооснов человеческого бытия, и оказывается, что и они не беспорядочны, что и здесь терзают человека проклятые сомнения. «Возможно ли,— спрашивает себя Мальте,— что, невзирая на прогресс и открытия, культуру, религию, философию, мы застряли на житейской поверхности?» И сам же себе отвечает: «Да, возможно». В течение долгих веков, полагает он, человечество оперировало исключительно поверхностными, несущественными знаниями, по-прежнему оставаясь загадкой для себя самого. Кто нашел в себе силы взглянуть в глаза этой горькой истине, тот немедленно должен начать что-то делать, дабы хоть как-то наверстать упущенное. Вот почему садится он писать свои записки.

Это, конечно, акт духовного подвижничества. Мальте Лауридс и сам сознает, сколь огромна и непосильна поставленная им перед собой задача. Его прежние произведения кажутся ему теперь бесполезными: плохой этюд о Карпаччо, драма «Супружество», где все конфликты, возникшие между двумя, искусственно объяснялись появлением третьего, слишком ранние и торопливые стихи, не основанные на истинно пережитом. Но как бы то ни было, ныне

тяжкий его путь познания назначен привести к высшему творчеству, к обретению целостного мировоззрения, единственно способного пролить свет на изначальный смысл человеческой жизни. Впрочем, и смерти тоже. Мальте болен, и это не может не определять его мироощущения. О смерти он размышляет без мистического пиетета, для него это не внушающая трепет, непостижимая «вещь в себе», но логическое и необходимое завершение жизни. У каждого человека должна быть «своя смерть», из этой жизни вытекающая.

Бог, приблизиться и постигнуть которого так мечтал лирический герой «Часослова», отступает теперь на второй план. Все, что имеет хоть какое-то отношение к религии, для Мальте тоже поверхностный опыт человечества. Духовные его борения не случайно обретают еще один смысл — это поиск новых ценностей взамен утраченных религиозных. Но где возможно их отыскать?

В критике не раз писалось о влиянии на Рильке философии Кьеркегора, особенно четко проступающем именно в романе. Поэт действительно хорошо знал книги датского мыслителя, он даже изучил датский язык, чтобы читать их в подлиннике; гостя в имении Боргебю-гор в Швеции, он переводил письма Кьеркегора к невесте — впрочем, без намерения публиковать их впоследствии. Отношение Рильке к Кьеркегору неоднозначно. Теологические построения Кьеркегора, снискавшие ему славу крупнейшего религиозного мыслителя, оставляют Рильке безучастным, его герой не пытается познать бога, куда важнее ему познать себя и окружающих людей. И здесь ключевое значение обретает для него кьеркегоровская этика, ее личностный пафос, облеченный к тому же в блестящую художественную форму, резкая критика своего времени как лишаящего человека самостоятельности и свободы. Накопленная веками мудрость, замечает на одной из страниц своих записок Мальте, не учитывала главного — индивидуальности, познание извечно направлено было на то, что окружает человека, но не на него самого. Истоки же че-

ловеческого — в индивидуальном, особенном. «Все близкое — внутри» — это из «Новых стихотворений».

Вот почему так пристально вглядывается Мальте в людей, с которыми сталкивает его судьба, он хочет разглядеть в каждом человеке неповторимое, особенное, что отличает его от других. Отдельные его наблюдения поражают удивительной точностью, за ними таится глубокое знание человека, скрытых его движущих сил. Внутренний мир человека для Мальте — пусть даже человек этот выброшен, подобно ему, за борт в большом городе, пусть он нищий, увечный или просто не в себе, пусть один только взгляд на него наполняет душу ужасом,— все равно внутренний мир человека есть ценность, он полон сокровенных, одному ему понятных значений и смыслов.

Стремление постичь человека, исходя *только* из его индивидуальности, из единичного и особенного, неизбежно приводит героя Рильке к рискованному замыканию на себе самом. Воспоминания детства, воспоминания юности, врезавшиеся в память страницы прочитанных некогда книг, живые впечатления от Парижа — все это нанизывается на некий единый субъективный стержень, все приобретает особую личностную окраску. Воспоминания о детстве в Ульсгоре, в Урнеклостере несут в себе особую поэтичность, романтика детского восприятия причудливо сочетается здесь с реалистичностью письма взрослого автора записок.

Желая, как сказали бы мы сегодня, сохранить собственную идентичность, Мальте обрекает себя на одиночество. Систему объективных связей, в которую неизбежно оказывается включенным каждый человек, он воспринимает как «маску», диктующую собственные жесты и слова, а стало быть, подчиняющую себе живое «я». Даже любовь, считает Мальте, ограничивает истинную свободу человека. Ибо, как правило, и она не свободна от страсти к обладанию, от стремления подчинить себе жизнь другого. И тогда любовь заключает бытие того, кого любят, в определенные рамки, из ожиданий и надежд любящих складываются

условия игры, определенная схема поведения. Вот почему такую важную композиционную роль играет заключающая роман притча о Блудном сыне, ушедшем из родного дома, потому что он не хотел быть любимым, не желал соглашаться на один только вариант собственной судьбы, на тот, что складывался бы из ожиданий и надежд близких, без права голоса собственного его «я». В скитаниях по свету Блудный сын надеется обрести такую любовь, которая не ограничивала бы свободу другого, не сводилась бы к жажде владеть и диктовать. Одно время ему кажется, будто он находит ее в любви к богу. Но и это решение иллюзорно.

В общем контексте романа параболы этой противостоят рассказы о «великих любящих» — Гаспаре Стампе, Марианне Алькофорато, родственнице и возлюбленной Мальте Абелоне. Здесь любовь не умозрительная, но живая, способная на самоотречение и потому поднимающаяся до вершин, любовь, обращенная к человеку и во благо человека, не сковывающая его бытие, но лишь просвечивающая свой предмет кроткими лучами, открывающая любимому его самого. В этих женщинах подлинная человечность и правда жизни. Однако сам Мальте не находит внутренних сил для подобного чувства.

Пытаясь, с одной стороны, отгородиться от людей, Мальте в то же время полон ибсеновского страстного, жадного к ним интереса, интереса и, что гораздо важнее, сострадания. Замкнуться в себе он не может, люди вокруг словно взывают к его участию, они приковывают к себе его «научившийся видеть» взгляд. Не случайно вспоминает Мальте флорберовского Юлиана Странноприимца, вспоминает как идеал, к которому следовало бы стремиться. Для него подобное самоотречение естественно, это всего лишь возведенная в высшую степень любовь к ближнему. С той только разницей, что страшные, уродливые образы, окружающие героя Рильке не сбросят никогда своей отталкивающей оболочки, не предстанут ангелами, посланными для того лишь, чтоб подвергнуть душу испытанию, они останутся в той же нищете и болезнях. И потому деятель-

ное, сострадающее участие в таких людях цениться должно бы дороже, чем красиво рассказанная легенда.

Но не находит в себе Мальте сил для *такой* любви. Он полон участия к окружающим его отверженным, но он чужой среди них, мысли его в старинном дворянском имении в Дании, в сознание его люди вторгаются непрошено, и рождает это только одно — страх. Страх Мальте перед жизнью в какой-то степени экзистенциален, это страх не перед чем-то конкретным, но перед бытием вообще, проистекающий из неспособности понять его и освоить, преобразовать в целостную картину. Записки, начатые единственно с такой благой целью, в итоге рассыпаются, они так и не вырастают в «большую книгу», оставаясь фрагментарными, дневниковыми, отрывочными — словом, всего лишь записками. Не случайно возникает в романе тема самозванства. Берущийся за перо с высшей целью, Мальте не в состоянии выполнить намеченное, он бессилён связать собственную жизнь с жизнью человеческого рода, с историей семьи, просто с Историей, все больше замыкается он в мире грез и воспоминаний, и вот они уже полностью подчиняют себе его сознание, ведут за собой торопливое, нервное перо. И нет искомым закономерностей, нет высших ценностей, мир предстает лишь вереницею непрошено вторгающихся в сознание картин и образов, между собою не связанных, разрозненных, противоречивых. Объединить эти фрагменты в единое полотно, научиться не просто *видеть*, но выработать на мир свой *взгляд*, придать ему цельность, осознать свое место в нескончаемой веренице поколений — вот задача, важность которой прекрасно понимает Мальте Лауридс Бригге, но которая оказывается для него непосильной. И в этом — причина его мучительного внутреннего разлада.

Казалось бы, перед нами мрачная, горькая книга, повествующая о духовном упадке, о несостоятельности художника, об изначальном ужасе бытия, о смерти. Но Рильке не зря советовал читать свою «трудную книгу» *против собственного течения*. Он так и писал ее, и потому общее ее звучание

иное, нежели горький тон отдельной судьбы. То, что не удастся Мальте *в общем* — сделать из записок целостное художественное произведение, — блестяще удается в конкретном, в отдельных эпизодах, повествующих о людях, с которыми сталкивает его скитальческая жизнь. Здесь Мальте обретает дар слова, свой талант *рассказать*. Доведенная до совершенства конкретика отдельного образа была основным принципом «Новых стихотворений», принцип этот распространился и на роман. Иное дело, что все эти блистательно выписанные отдельные страницы и истории не объединились в итоге в «зрелом синтезе», о котором писал Рильке в своей книге о Родене. Подобно Ивану Кузьмичу из вставной новеллы «Записок», напоминающей своей фантастичностью петербургские повести Гоголя, Мальте оказывается владельцем огромного богатства — отдельных минут и секунд жизни, которые он с наслаждением вспоминает и описывает, достигая вершин мастерства. Но так же, как и Ивану Кузьмичу, ему не удастся вновь перевести эти минуты и секунды в нечто целостное, завершенное — в жизнь, которую призваны осмыслить и прочувствовать «Записки».

Вот почему на полуноте обрывается роман, вот почему Рильке отказался от мысли закончить его вставной новеллой о Толстом. Ибо Толстой — даже просто как литературная параллель — это уже нечто цельное, совершенное, Мальте же так и остался в состоянии поисков, в состоянии внутреннего разлада, диссонанса, не обрел гармонии. В Мальте и в самом деле есть нечто от Блудного сына, понимающего необходимость возвращения к своим, к людям — здесь своеобразный расчет с индивидуалистической мудростью Кьеркегора, — но не находящего сил для нового начала.

Роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» ознаменовал начало долгого кризиса в творчестве Рильке, усугубленного затем первой мировой войной. То был кризис не мастерства, но мироощущения, мировоззрения. Сложны пути гуманистической мысли в двадцатом веке. И все-таки у больших художников она неизменно побеждала, перед какими бы трагическими изначальными противоречиями ни оказы-

валось их сознание. Победа Рильке была блистательной. Два поздних поэтических шедевра — «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею», увидевшие свет в 1923 году,— явили целостную гуманистическую картину мира, картину сложную, многоплановую, исполненную выстраданной веры в человека и его возможности.

А роман остался вершиной прозаического мастерства Рильке. Страницы, написанные в блестящей реалистической традиции, соседствуют с удивительными по тонкости настроения импрессионистичными набросками, неоромантическая манера письма перерастает в еще только предвосхищавшийся тогда экспрессионизм. Во всем чувствуется рука подлинного мастера, вот почему отдельные эпизоды романа стали поистине хрестоматийными. Иные фразы прочитываются как стиховые, да и общий ритм произведения складывается в гибкую, причудливую, подвижную структуру.

Больше прозы Рильке не писал. Его «Стихотворения в прозе», создававшиеся в период с 1906-го по 1914 год, носят скорее опытный, экспериментальный характер. Демонстрируя блестящее рилькевское владение словом, они либо подготавливали будущие поэтические тексты, как, скажем, знаменитый отрывок «Бродячие акробаты», вошедший потом в переработанном виде в Пятую дуинскую элегию, либо же выполняли роль маленьких, но убедительных доказательств безграничных возможностей языка, находящегося на грани между поэзией и прозой, языка большого поэта и одновременно прекрасного прозаика.

Небольшая эта книжка впервые познакомит широкого читателя с прозой Рильке. Том прозы Рильке на языке оригинала был выпущен издательством «Радуга» четыре года назад и предназначен всем, читающим по-немецки. Ныне он стал библиографической редкостью. Это рождает уверенность, что чтение прозаических произведений Рильке на русском языке, на языке, который сам поэт знал, любил и даже пытался сочинять на нем стихи, доставит нашим читателям немало радостных, духовно наполненных минут.

Н. Литвинец

Записки Мальте Лауридса Бригге

Роман



11 сентября, rue Toullier*

Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, я-то думал, здесь уми-
рают. Я выходил. Я видел: больницы. Видел человека, кото-
рый закачался, упал. Его обступили, я был избавлен от ос-
тального. Видел беременную. Она тяжело брела вдоль высо-
кой теплой стены и все ощупывала ее, как проверяла, не де-
лась ли куда-то стена. Нет, стена никуда не делась. А за нею?
Я сверился с планом: Maison d'Accouchement**. Хорошо.
Ей помогут разродиться, там это умеют. Дальше — rue
Saint-Jacques***, высокое здание под куполом. В плане —
Val-de-grâce, Hôpital militaire****. Мне, собственно, это было
незачем знать, впрочем, не помешает. Улица стала вонять.
Воняло, насколько я мог различить, йодоформом, чадом от
жареной картошки и страхом. Летом воняют все города. По-
том я увидел дом, странно слепой, как в бельмах, в плане он
не значился, но я разобрал над дверьми: Asyle de nuit*****.
У входа были цены. Я прочел. Сходные цены.

Что еще? Ребенок в коляске. Опухший, зеленый, на лбу
четкая сыпь, она, видно, уже подживала, ему было не больно.
Ребенок спал, рот был разинут, вдыхал йодоформ, чад кар-
тошки и страх. Вот так-то. Главное, что живешь. Это главное.

* Улица Тулье (франц.) — в центре Парижа, на которой поселился
Рильке в 1902 году. (Здесь и далее — прим. перев.)

** родинный дом (франц.).

*** улица Сен-Жак (франц.), находится в Латинском квартале.

**** Бульв. «долина милосердия» (франц.) — монастырь и военный гос-
питаль.

***** Ночной приют, ночлежка (франц.).

Никак не могу отучиться спать с открытым окном. Судорожный дребезг трамвая насквозь пробивает комнату. Надо мной проносятся автомобили. Хлопает дверь. Где-то разбилось со звоном стекло, большие осколки хохочут, хихикают мелкие, я все это слышу. Потом вдруг — сдержанной, глуше — шум с другой стороны, где-то в доме, внутри. Кто-то идет по лестнице. Идет, идет — без конца. Уже тут, давно уже тут. И — мимо. И снова улица. Визжит девушка: “Ah, tais-toi, je ne veux plus”*. Вверх летит звон трамвая, над всем, сквозь все, прочь, прочь. Кричит кто-то. Бегут, обгоняют друг друга. Собака лает. Какое облегчение — собака! Под утро даже поет петух — невыразимая благодать. Потом, вдруг, я засыпаю.

Это шумы. Но есть кое-что страшнее шумов — тишина. Я думаю, во время большого пожара наступает такой мучительный миг: водяные струи опадают, уже не карабкаются вверх пожарные, все замирает. Медленно рушится сверху черный карниз, и всей стеной, схваченной огнем, дом крепится — беззвучно. Все стоит, застыв, сжавшись, ждет страшного удара. Вот такая тут тишина.

Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится — не знаю.

Сегодня писал письмо и вдруг сообразил, что ведь я здесь всего три недели. Три недели в другом месте, в деревне например, промелькнули бы как один день, здесь это целая вечность. И не буду я больше писать писем. Зачем сообщать кому-то, что я меняюсь? Если я меняюсь, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, людям, которые не знают меня, я писать не могу.

Я говорил уже? Я учусь видеть. Да, начинаю. Пока еще дело идет неважно. Но я учусь.

* Да замолчи ты, я не хочу больше (франц.).

Например, прежде мне не приходило в голову, какое на свете множество лиц. Людей — бездна, а лиц еще больше, ведь у каждого их несколько. Есть люди, которые одно лицо носят годами, оно, разумеется, снашивается, грязнится, может прохудиться на складках, растягивается, как перчатка, которую надевали в дорогу. Это — простые, бережливые люди; они не меняют лица, даже не отдают его в стирку. Сойдет, говорят они, и кто им докажет обратное? Но напрашивается вопрос, раз у них несколько лиц, — что делают они с остальными? Они их берегут. Еще дети поносят. Однако, бывает, их пес, выходя на прогулку, щеголяет в хозяйском лице. Ну и что такого? Лицо есть лицо.

А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остается последнее. В этом, бесспорно, своя трагедия. Они не привыкли беречь лицо, последнее за восемь дней снашивается до дыр, во многих местах делается тонким, как бумага; и все больше просвечивает изнанка, не-лицо, и так они вынуждены расхаживать.

Но женщина, та женщина! Она вся ушла в себя, наклонясь вперед, уткнувшись лицом в ладони. Это было на углу rue Notre-Dame-des-Champs*. Я замедлил шаг, едва я ее увидел. Не надо мешать задумавшимся беднякам. Вдруг до чего и додумаются.

Улица была пуста; ее пустота скучала; она выхватывала шаги у меня из-под ног и громыхала ими как деревянными башмаками. Женщина испугалась, слишком быстро, слишком резко оторвалась от себя, так что лицо осталось в ладонях. Я видел, оно там лежало, пустой оболочкой. Мне стоило невероятных усилий удержать взгляд на этих ладонях и не смотреть на то, от чего они оторвались. Страшно было смотреть на лицо с изнанки, но еще больше я боялся голой, ободранной головы без лица.

* улицы Нотр-Дам-де-Шан (франц.) — в центре, неподалеку от Люксембургского сада.

Я боюсь. Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся. Ужасно, если я вдруг заболел тут, ведь если кому-то вздумается меня отвезти в Hôtel-Dieu*, я там непременно умру. Он очень удобен, этот Hôtel, в него едут и едут. Даже спокойно не полюбуешься видом парижского собора — того гляди, налетит на тебя одна из повозок, на всей скорости несущихся сюда открытым пространством. Это такие маленькие omnibusy, сигналившие пронзительно, без конца, так что самому герцогу Саганскому пришлось бы остановить карету, втемясь какой-нибудь ничтожнейшей личности срочно отправиться умирать в Божий Отель. Умиравшие настырны, и весь Париж обязан застыть, когда мадам Легран, старьевщица с rue de Martyrs** спешит на некое место в Cité***. Эти проклятушие повозки, надо заметить, снабжены весьма интригующими оконцами матового стекла, и за ними вы вольны воображать изысканнейшие агонии. На это достанет воображенья консьержки. Если же у вас фантазия побогаче — тут для нее буквально безграничный простор. Но видел я и открытые дрожки, наемные дрожки с откинутым верхом и нанятые по самой обычной цене: два франка за смертный час.

Этот прелестный отель — чрезвычайно старинный. Уже во времена короля Хлодвига**** умирали здесь на немногих кроватях. Теперь умирают на пятистах пятидесяти девяти. Разумеется, фабричным способом. При такой огромной продукции каждая смерть уж не отделяется столь тщательно; но ведь это неважно. Важно количество. Кому нынче нужна безупречно выполненная смерть? Никому. Даже богачи, которые уж могли бы позволить себе умереть со всей обстоятельностью, и те мало-помалу начинают небрежничать. Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и она станет такой же

* Буков. «приют бога» (франц.) — парижская больница, построена в VII веке.

** улицы Мучеников (франц.).

*** Сите — старинный район Парижа.

**** Хлодвиг (ок. 466—511) — основатель Франкского королевства.

редкостью, как своя собственная жизнь. Господи! Ведь как бывает. Ты приходишь, жизнь тебя поджидает, готовенькая, остается только в нее влезть. Ты хочешь, или тебя принуждают уйти — и опять ни малейших усилий. *Voilà votre mort, monsieur**. Умираешь как попало. Умираешь той смертью, которая положена твоей болезни (ведь поскольку мы знаем теперь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен данной болезни, а не данному лицу; и больному, как говорится, просто нечего делать).

В санаториях, где умирают так дружно и с такой благодарностью к врачам и сиделкам, умираешь той смертью, какая в данном заведении заведена; это весьма поощряется. Но когда умираешь дома, естественней избрать почтенную смерть из хорошего круга, как бы кладущую начало погребению по высшему чину и соответственным пышным обрядам. Бедняки толпятся под окнами и наслаждаются зрелищем. У них-то самих смерть банальнейшая, совершенно без церемоний. Хорошо еще, если попадетя хоть сколько-нибудь подходящая. Когда велика — не беда: всегда ведь вытягиваешься чуть-чуть. Вот когда не сходится на груди, когда жмет — тогда дело хуже.

Когда я возвращаюсь мыслями к родному дому, где никого уже не осталось, я думаю, что прежде было иначе. Прежде люди знали (а быть может, догадывались), что содержат в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины — в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость.

Еще по деду моему, старому камергеру Бригге, видно было, что он носил в себе свою смерть. И какую! Протяженностью в два месяца и до того громкую, что слышно по всей округе.

Длинный старый господский дом был для нее мал. Впору,

* Вот ваша смерть, сударь (*франц.*).

казалось, пристраивать еще боковые крылья, ибо тело камергера делалось все больше, и он все время требовал, чтобы его переносили из комнаты в комнату, и безмерно гневался, когда к исходу дня не обнаружилось комнаты, где он еще не лежал. Тогда-то целая процессия лакеев, горничных и собак, которых всегда он держал при себе, под водительством дворецкого сопроводила его наверх, в ту комнату, где умерла его досточтимая матушка. Комната стояла в том точно виде, в каком она ее оставила двадцать три года назад, и с той поры никто не переступал порога. И вот туда ввалились всей ватагой. Шторы отдернули, и крепкий летний свет шарил по робкой, вспугнутой мебели, неуклюже тыкался в поспешно обнажаемые зеркала. Люди вели себя ему под стать. Горничные девушки так волновались, что не знали, куда девать руки, молодые лакеи на все глазели, разиня рты, слуги постарше слонялись из угла в угол, припоминая, что было им говорено про запретную комнату, где так счастливо они вдруг очутились.

Но собаки, кажется, особенно наслаждались комнатой, где каждая вещь пахла по-своему. Длинные тощие русские борзые с любопытством заглядывали за кресла, покачивающейся танцевальной поступью пересекали паркет, вставали на дыбы, как геральдические щитоносцы, и, положив узкие лапы на белые золоченые подоконники, вертели сторожками, острыми мордами и поглядывали в сад. Маленькие перчаточно-желтые таксики невозмутимо устраивались в просторном шелковом кресле у окна, а жесткошерстый угрюмый легавый пес терся спиной о край золотонного столика, до дрожи пугая севрские чашки на расписной столешнице.

Да, для рассеянных, сонных вещей наступило ужасное время. Из книги, неловко распахнутой торопливой рукой, выпадал розовый лепесток и погибал, растоптанный, мелкие, слабенькие безделки в грубых пальцах тотчас ломались и, битые, поспешно водворялись на место; обломки совали за шторы, забрасывали за золоченую каминную решетку. И то и дело падало что-то, глухо падало на ковер, звонко

падало на жесткий паркет и всегда разбивалось — громко раскалывалось или разлеталось беззвучно; изнеженные предметы не могли перенести паденья.

А спроси кто-нибудь, что причиной, кто наслал такую напасть на ревниво оберегаемый этот покой, ответ был бы один: Смерть.

Смерть камергера Христофа Детлева Бригге из Ульсгора. Он лежал на полу посреди комнаты, огромный, вздувая свой синий мундир, и не шевелился. На огромном, чужом, уже никому не знакомом лице были закрыты глаза, он не видел происходящего. Сперва пытались уложить его на кровать, но он воспротивился, он ненавидел кровати с той первой ночи, когда в нем завелась болезнь. Вдобавок кровать тут, наверху, оказалась ему мала, и оставалось только положить его на ковер; вниз возвращаться он не хотел.

И так он лежал, и казалось, он умер. Собаки, когда постепенно смеркалось, выскальзывали одна за другой в полуотворенную дверь; лишь хмурый легавый пес сидел рядом с хозяином, положив широкую косматую лапу на огромную серую руку Христофа Детлева. Слуги, все почти, тоже выходили в беленый коридор, где было светлей, чем в комнате; оставшиеся поглядывали украдкой на темнеющую на ковре гору и втайне желали, чтобы это была просто большая одежда, прикрывавшая тление тела.

Но было еще и другое. Был голос. Голос, который вот уже семь недель был никому не знаком, ибо то не был голос камергера. То был не голос Христофа Детлева, то был голос его смерти.

Много, много дней уже смерть Христофа Детлева Бригге жила в Ульсгоре, ко всем взывала и требовала: требовала перемещений, требовала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный зал, требовала собак, требовала, чтоб кругом говорили, смеялись, играли, молчали — всё сразу. Требовала, чтоб привели друзей, привели женщин и тех, кто умер давно, требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала. Требовала и орала.

И когда наступала ночь и замученные слуги, освободясь

от бдения подле Христофа Детлева, пытались вздремнуть, смерть его орала, орала, стонала. Она вопила так долго и так неотступно, что собаки, сперва подвываявшие ей, смолкали и, не смея прилечь, стояли на длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал до деревни сквозь серебряную, просторную датскую ночь, там, как в грозу, вставали с постелей, одевались и молча сидели под лампой, пока он не стихнет. И женщин на сносях прятали в самые дальние комнаты, за самые густые пологи; и все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из утробы, и они молили, чтобы им позволили встать, и, широкие, белые, со стертymi лицами, садились рядом со всеми. И стельные коровы, которым пришел срок, не могли отелиться; и у одной пришлось вырвать мертвый плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить. И все в усадьбе скверно выполняли работу, забывали метать стога, потому что весь день они в ужасе ждали ночи и так устали от бессонных ночей, что ничего уже не понимали. А по воскресеньям в белом, мирном храме они молились, чтобы не было в Ульсгоре хозяина. Потому что то был страшный хозяин. И все, о чем молились они, громко твердил пастор с амвона; ведь и сам он лишился ночей и уже не понимал Господа. И то же твердил колокол, напуганный страшным соперником, гудевшим ночь напролет, с которым не мог он тягаться, как ни надсаживал свое медное натруженное нутро. Да, все твердили одно. И был среди крестьян помоложе один, которому приснился сон, будто он пошел в господский дом и заколол хозяина вилами. И так все были измучены, так взвинчены, что, пока он рассказывал сон, невольно поглядывали на него, прикидывая, способен ли он на такое. И так думали и говорили по всей округе, где еще несколько недель назад любили и жалели камергера. Все говорили одно, но ничто не менялось. Смерть Христофа Детлева, обитавшую в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она явилась на десять недель и ровно десять недель продержалась. И все это время она нераздельно властвовала в Ульсгоре, как никогда не властвовал Камергер. Как царь, вековечно зовущийся Грозным.

И то не была смерть кого-то, больного водянкой; то была жестокая княжья смерть, которую камергер в себе питал и вынашивал. Всеми излишками гордости, своеволия, властолюбия, которые он не растратил в спокойные дни, теперь завладела смерть, и смерть, окопавшись в Ульсгоре, их расточала.

Как взглянул бы камергер Бригге на того, кто пожелал бы ему умереть не такой смертью, иначе? Он умер своей, тяжелой смертью.

И как вспомню других, кого я видел, о ком слышал,— все то же. Они умирали своей смертью. Мужчины вынашивали свою смерть, загнавши в себя, как пленника; женщины делались очень старыми, очень маленькими и на огромной постели отходили достойно и скромно, как на сцене, под взорами челяди, родных и собак. Даже совсем крошечные дети и те умирали не как придется, нет, они владели собой и умирали, как им подобало или как им подобало бы в будущем. А женщинам, беременным женщинам, когда они обнимали неволью тонкими руками большие свои животы, им печальную прелесть два плода придавали: ребенок и смерть. И не оттого ли на опустелых лицах медлила густая, почти насыщающая улыбка, что они чувствовали, как созревают оба плода?

Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал; и теперь совершенно умаялся, как, бывало, после долгой прогулки в полях Ульсгора. А ведь жаль, что всего этого уж нет, что чужие люди живут в старом длинном господском доме. Может статься, в белой комнате, наверху по фасаду, спят теперь горничные, спят тяжелым влажным сном с вечера до утра.

А у меня нет ничего, никого, я скитаюсь по свету с сундучком да связкою книг, даже без любопытства. Ну что, в самом деле, за жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Если бы хоть воспоминанья остались. Да у кого они остаются? Было детство — и нет

его. Быть может, надо состариться, чтоб опять этим всем овладеть. Да, наверное, лучше состариться.

Сегодня было прекрасное осеннее утро. Я прошелся по Тюильри. Все, что лежало на востоке, под наползавшим солнцем, слепило. Все, на что падало оно, занавесил туман, будто серым пологом света. Серые на сером, в еще не оголенном саду, замечались под солнцем статуи. Цветы на длинных газонах, вдруг восторженно, вскрикивали испуганно: «Красное!» Потом очень высокий худой человек вышел из-за угла, с Елисейских полей. У него был костыль. Но он не опирался на него, он выбрасывал его вперед и то и дело стучал им оземь, словно жезлом герольда. Он не мог подавить радостную улыбку и улыбался всему: солнцу, деревьям. Поступь у него была неверная, как у ребенка, но странно легкая, полная памяти о прежней ходьбе.

Всё из-за луны, такой маленькой. В эти дни все вокруг нас легко, прозрачно, едва прихвачено яркостью воздуха и, однако, отчетливо. Близь вбирает цвета дали, льнет к ней и сама ею прикидывается. И все, что рвется в простор: река, мосты, безоглядно себя расточающая площадь,— как рисунок на шелку, закреплено на этом просторе. И уже не разобрать, что обернется светло-зеленой каретой на Pont-neuf*, красной неумной вспышкой или просто плакатом на брандмауэре жемчужно-серого дома. Все упрощено, сведено к ясным, четким планам, как лицо на одном портрете Мане. Ничего мелкого, случайного. Букинисты на набережной раскладывают свой товар: свежая блеклая желтизна листов, лиловая темь переплетов, обширная зелень карт — все дружит, все сообща создает полноту, где ни в чем нет недостатка.

Внизу следующая сцена: женщина толкает тележку; ближе к передку, боком — шарманка, сзади, поперек — коляска, в ней на крепких ножках стоит совсем крошечный

* Новом мосту (*франц.*) — мост через Сену, в центре Парижа.

малыш в чепчике, очень довольный и ни за что не желает садиться. Время от времени женщина вертит шарманку. Тогда малыш принимается топотать ножками, а девочка в зеленом воскресном платице пляшет и бьет в тамбурин, протягивая его к окнам.

Думаю, мне пора приняться за какую-то работу, раз я научился видеть. Мне двадцать восемь лет, а почти ничего не сделано. Припомним: я написал этюд о Карпаччо*, и скверный этюд, драму, которая называется «Супружество» и призвана доказать ложную мысль не лучшими средствами, и кое-какие стихи. Ах, но что пользы в стихах, написанных так рано! Нет, с ними надо повременить, надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятию строками удачными. Стихи ведь не то, что о них думают, не чувства (чувства приходят рано), стихи — это опыт. Ради единого стиха нужно повидать множество городов, людей и вещей, надо понять зверей, пережить полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром. Надо вспомнить дороги неизвестных стран, нечаянные встречи, и задолго чуемые разлуки, и до сих пор неопознанные дни детства, родителей, которых обижал непониманием, когда они несли тебе радость (нет, та радость не про тебя), детские болезни, удивительным образом всегда начинавшиеся с мучительных превращений, и дни в тишине затаившихся комнат, и утра на море, и вообще море, моря, и ночи странствий, всеми звездами мчавшие мимо тебя в вышине, — но и этого еще мало. Нужно, чтобы в тебе жила память о несчетных ночах любви, из которых ни одна не похожа на прежние, о криках женщин в любовном труде и легких, белых, спящих, вновь замкнувшихся роженицах. И нужно побыть подле умирающего, посидеть подле мертвого, в комнате, отворенным окном льющей прерывистый уличный шум. Но мало еще иметь воспоминанья. Нужно научиться их прогонять, когда их

* Витторе Карпаччо (ок. 1455 — ок. 1525) — венецианский художник.

много, и, набравшись терпения, ждать, когда они снова придут. Сами воспоминания ведь мало чего стоят. Вот когда они станут в тебе кровью, взглядом и жестом, безымянно сростутся с тобой, вот тогда в некий редкостный час встанет среди них первое слово стиха и от них отойдет.

Мои же стихи все получались иначе, стало быть, и не стихи. А когда я писал драму — куда меня занесло? Глупец я или слепой подражатель — зачем мне понадобился третий, чтобы рассказать о судьбе двоих, терзающих друг друга? Да, легко я попался на удочку. А мне бы знать, что этот третий, заполонивший нашу жизнь и нашу литературу, этот призрак того, чего не было никогда, — совершенно лишний и пора от него отделаться. Он — одна из уловок природы, вечно старающейся нас отвлечь от своих глубочайших тайн. Он — ширма, за которой разворачивается драма. Он — шум у входа в безмолвие подлинных перипетий. Надо полагать, всем до сих пор казалось чересчур мучительно говорить о тех двоих, в которых суть; с третьим же, именно в силу его выдуманности, куда как легко, с ним справится всякий. И с самого начала в драмах проглядывает нетерпение, там ждут не дождутся третьего. Он является — и все идет как по маслу. Но до чего же томительно, когда он запаздывает, без него ничего решительно не происходит, все запинается, стопорится, стоит. А ну как продлился бы этот застой? Что, господин драматург, что, поднаторевшая публика, что, если б он провалился в гартарары, твой любимый светский хлыщ или юный проказник, как отмычка, взламывающий любое супружество? Что, если б его, к примеру, черт побрал? Вот предположим. Тотчас обнаруживаются противоестественные пустоты театров, их огораживают, точно опасные люки, и только моль ссыпается с барьеров лож в пропасть партера. Драматурги уже не благоденствуют в роскошных кварталах. Все сыскные агентства ищут для них незаменимого, без которого не быть действию.

А меж тем они живут ведь среди нас, не эти «третьи», но



Рильке в 1900 году

двое, о которых небывало многое бы можно сказать, и, однако ж, ничего до сих пор не сказано, хотя они мучатся, совершают поступки, все больше запутываются.

Смешно. Вот сижу я в своей каморке, я, Бригге, которому двадцать восемь лет и о котором ровно никто не знает. Я здесь сижу, и я — ничто. И, однако же, это ничто начинает думать у себя, на пятом этаже, в серый парижский денек, и додумывается до такого:

Возможно ли, думает оно, что все существенное и нужное еще не увидено, не опознано и не сказано? Что тысячелетия, которые были отпущены нам на то, чтоб смотреть, размышлять и записывать, промелькнули школьной переменной, когда едва успеваешь проглотить бутерброд и яблоко?

Да, возможно.

Возможно ли, что, невзирая на прогресс и открытия, культуру, религию, философию, мы застряли на житейской поверхности? Что даже и поверхность эту, которая хоть что-то да могла собой выражать, мы затянули такой непеносимо скучной материей, что она смотрит гостиней мебелью, когда хозяева уехали на лето?

Да, возможно.

Возможно ли, что вся история человечества ложно истолкована? Что все прошедшее искажено, ибо нам вечно толкуют о массах, тогда как дело совсем не в толпе, а в том единственном, вокруг кого она теснилась, потому что он был ей чужд и он умирал?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы вообразили, будто нам следует наверстать все, случившееся до нашего рождения? Что каждому вдалбливают, что он — продолжение всех, кто был до него, и обязан это помнить, и ни-ни не давать себя переубедить тем, кто считает иначе?

Да, возможно.

Возможно ли, что люди до мелочей знают прошлое, какого и не существовало? Что действительность ничего

не значит для них, что жизнь их идет, не сообразуясь ни с чем, как в пустой комнате часы?

Да, возможно.

Возможно ли, что мы ничего не знаем о девушках, а они живут ведь на свете? Что мы говорим «женщины», и мы говорим «дети», «мальчики», не подозревая (при всей нашей образованности не подозревая), что слова эти давно затеряли свое множественное число в несчетной россыпи единиц?

Да, возможно.

Возможно ли, что есть люди, которые, говоря о Боге, понимают одно и то же? Вообразите двух школьников. Один покупает перочинный ножик, и приятель его в тот же день покупает точно такой же. Через неделю они эти ножики сравнивают, и выясняется, что они почти непохожи,— так разнó сложилась судьба их в разных руках. (А то как же, скажет мать одного, вечно вам сразу все пустить в дело...) Вот оно что... Но возможно ли предположить, что, имея Бога, ты к нему не прибежешь?

Да, возможно.

Но если все это и впрямь возможно, если тут есть хоть тень возможности, нельзя же, чтоб так оставалось! И первый, кого ошарашила эта мысль, должен попытаться что-нибудь предпринять, пусть даже он и не наиболее подходит для этой цели: другого-то нет под рукою. И молодой неприметный иностранец Бригге должен усесться за стол у себя на пятом этаже и писать день и ночь напролет, да, надо писать, вот и все.

Было мне тогда лет двенадцать, никак не больше тринадцати. Отец взял меня с собою в Урнеккloстер. Уж не знаю, зачем понадобилось ему навеститься к тестю. Они не видались давно, с самой смерти моей матери, и отец не бывал в старом замке, куда лишь незадолго до того удалился от света старый граф Брае. Я никогда потом уж не видел удивительного дома, который по смерти деда перешел в чужие руки. Детское воображение не вверило его

моей памяти цельной постройкой. Он весь раздробился во мне; там комната, там другая, а там отрывок коридора, но коридор этот не связывает двух комнат, но остается сам по себе, отдельным фрагментом. И так разъединено во мне все — залы, ступенный спуск ступеней и другие, юркие вьющиеся лесенки, которые, как кровь по жилам, гонят тебя во тьме; башенные покои и повисающие над высотой галереи, неожиданные террасы, на которые тебя швыряют вдруг маленькие дверцы,— все это до сих пор во мне и будет во мне всегда. Будто образ дома упал с безмерной высоты на дно моей души и там разбился.

Целой удержалась в моем сердце, кажется, только столовая, в которой мы каждый вечер в семь часов сходились обедать. Я ни разу не видел ее днем, не помню даже, были ли там окна и куда они выходили; когда являлась семья, уже неизменно горели свечи в тяжелых шандалах, и тотчас забывалось время дня и все виденное снаружи. Этот высокий и, вероятно, сводчатый зал был сильнее всего; сумрачной своей высотой, затененными углами он вымогал у тебя все образы, ничего точно очерченного не предлагая взамен. Ты будто в нем растворялся, оставался без воли, разума и желаний, без защиты. Делался пустым местом. Помнится, сперва от этой моей отмененности меня мучила почти дурнота, нечто вроде морской болезни, которую я превозмогал, вытягивая ногу и касаясь колена сидевшего напротив отца. Лишь позже пришло мне в голову, что он понимал или по крайней мере терпел мой странный маневр, хотя отношения наши были скорее прохладны и, казалось, не допускали подобных выходов. Так или иначе, это тихое соприкосновение давало мне силы выдерживать долгие трапезы. И через несколько недель судорожного терпенья с почти непостижимой детской гибкостью я так приноровился к жути этих собраний, что почти без труда высиживал за столом два часа; они проходили даже сравнительно быстро, ибо я занимался тем, что наблюдал присутствующих.

Мой дед называл их «семья», и другие, я слышал,

тоже пользовались этим обозначением, впрочем, вполне произвольным. Ибо, хоть и находясь в отдаленном родстве, четверо за столом мало имели общего. Дядюшка, сидевший со мною рядом, был старик с жестким и смуглым лицом в черных отметилах — следствие, как потом я узнал, порохового взрыва; хмурый, всегда недовольный, он вышел в отставку майором и теперь занимался алхимией где-то в неведомых мне покоях замка и, как узнал я от слуг, был в сношениях с острогом, откуда раза два в году ему поставляли трупы, и он просиживал тогда дни и ночи, препарируя их таинственным образом так, чтоб они не давались распаду. Напротив него помещалась фрейлейн Матильда Брае. То было безвозрастное создание, дальняя родственница моей матери, примечательная лишь тем, что она состояла в усердной переписке с неким австрийским спиритом, именовавшим себя барон Нольде, и подчинялась ему во всем, ничего решительно не предпринимая без его совета или, верней, своего рода благословения. К тому времени она ужасно раздалась, и рыхлая, ленивая ее полнота небрежно вливалась в широкие яркие платья; жесты у нее были вялы и невыразительны, и постоянно слезились глаза. И однако, что-то в ней напоминало о хрупкой, стройной моей матери. Чем дольше я ее наблюдал, тем больше различал тонкие, тихие черты, которых не мог хорошенько вспомнить после смерти папап, и лишь после того, как я ежедневно разглядывал Матильду Брае, я наконец вспомнил, как выглядела умершая; может быть, даже впервые узнал. Лишь тогда сотни и сотни частности в образе покойной слились во мне в тот образ, с которым я не расстаюсь. Потом я понял, что в лице фрейлейн Брае совмещались те частности, которые определяли дорогие мне черты, только меж ними словно втиснулось чужое лицо, и они сместились, разъехались и уже не составляли целого.

Подле этой дамы сидел сын какой-то кузины, мальчик почти одних со мною лет, но тщедушной и меньше ростом. Белая тонкая шея его вылезала из плоеного ворота и пря-

талась под вытянутым подбородком. Губы были узкие и плотно сжаты, ноздри тихонько подрагивали, а из прекрасных темно-карих глаз поворачивался только один. Частенько он поглядывал на меня через стол спокойно и грустно, тогда как другой был неподвижно уставлен в угол, будто списанный и забытый.

Во главе стола стояло огромное кресло деда, которое слуга, не имевший иных обязанностей, пододвигал для него и в котором совершенно терялась маленькая фигурка графа. Были люди, величавшие тугоухого и крутого барина превосходительством и гофмаршалом, другие называли его генералом. И он, вне сомнений, был носителем всех этих почестей, но так давно отошел от дел, что обращения казались почти непонятны. Мне вообще представлялось, что мгновеньями ярко проглядывавшая и тотчас вновь туманившаяся его индивидуальность не покрывалась никакими наименованиями. Я не решался называть его дедушкой, хоть подчас он бывал благосклонен ко мне, а иной раз даже к себе подзывал, норовя шутливо выговаривать мое имя. Впрочем, вся семья относилась к графу с почтением, приправленным робостью, и только маленький Эрик пользовался, кажется, доверенностью дряхлого хозяина дома; подвижный его глаз бросал ему, случалось, быстрый заговорщический взгляд, на который дед отвечал с таким же проворством; нередко в медленные послеполуденные часы их наблюдали в дальнем конце галереи, где они прогуливались рука об руку мимо темных старых портретов и молчали, бог весть каким способом сообщаясь.

Я же чуть не целыми днями пропадал в парке, а то в буковой роще или на лугу; к счастью, в Урнеклостере были собаки, они сопровождали меня; то и дело я набредал на ферму или мызу, там подкреплялся хлебом, фруктами и молоком и, кажется, беспечно наслаждался свободой, не даваясь жутким мыслям о вечерних сходках, по крайней мере в первые недели. Я почти ни с кем не разговаривал, и одиночество было моей отрадой; только с собаками вел я немногословные беседы, и мы превосходно понима-

ли друг друга. Молчаливость, пожалуй, наша семейная черта. Я привык к молчанию отца, и меня не удивляло, что за столом здесь не ведутся беседы.

В первые дни по нашем приезде Матильда Брае, впрочем, была весьма словоохотлива. Она расспрашивала отца о старых знакомых в городах за границей, предавалась давним воспоминаниям и трогала самое себя до слез, вызывая образы покойных подруг и некоего молодого человека, который, как она намекала, ее любил, но она не сумела ответить на его верные безнадежные чувства. Отец слушал учтиво, иногда понимающе склонял голову и отвечал только при крайней необходимости. Граф во главе стола не переставал улыбаться горестным ртом, и лицо его казалось больше обыкновенного, будто на него надели маску. Время от времени он вставлял свое слово, и ни к кому в отдельности не обращенный голос его, хоть и тихий, отдавался по всему залу; он был размерен и равнодушен, как ход часов; на него отзывались провалы тишины — равные после каждого слога.

Граф Брае почитал особой любезностью говорить с моим отцом о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сибиллой, и каждая его фраза заканчивалась как бы вопросом о ней. Уж не знаю почему, но мне казалось, что речь идет о совсем юной девочке в белом, которая вот-вот среди нас объявится. В том же тоне говорил он при мне о «нашей маленькой Анне-Софи». И когда я однажды спросил, кто эта фрейлейн, которую, кажется, так любит дедушка, мне объяснили, что он разумеет дочь Великого Канцлера Конрада Ревентлова, некогда мorganатическую супругу Фридриха Четвертого*, уже полтора столетия покоящуюся в Роскилле**. Хронология для него не играла ровно никакой роли, смерть была безделицей, которой он не замечал, люди, которых однажды он включил в свою память, продолжали существовать, и кончина

* Фридрих IV — датский король (1699—1730).

** Роскилле — собор XIII века, где находится усыпальница членов датской королевской фамилии.

их решительно ничего не меняла. Спустя несколько лет, уже после его смерти, рассказывали, что с тем же упорством он и будущее считал настоящим. Говорят, он беседовал с некоей молодой дамой о ее сыновьях и особенно распространялся о путешествиях одного из них, покуда молодая особа на третьем месяце первой беременности чуть не в обмороке, сама не своя от ужаса слушала неумолкавшего старика.

Но тогда началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко хохотал и не мог с собой сладить. Однажды вечером Матильды Брае не было за столом. Дряхлый, почти совсем ослепший лакей, подойдя к ее месту, однако же, протянул блюдо к пустому прибору. Так он постоял немного; затем, достойно и важно, будто все в совершенном порядке, он двинулся дальше. Я видел эту сцену, и покуда я ее наблюдал, она мне вовсе не казалась комической. Но позже, когда я уже сидел с набитым ртом, меня внезапно так разобрал смех, что я поперхнулся и наделал шуму. И как я ни терзался, как ни настраивался изо всех сил на серьезный лад, меня трясло от смеха и я ничего не мог поделать.

Отец, очевидно прикрывая мою невоспитанность, спросил своим четким, глуховатым голосом: «Что Матильда — больна?» Дедушка усмехнулся обычной своей усмешкой и ответил фразой, которой тогда, занятый собой, я не придал значения и которая звучала приблизительно так: «Нет, она попросту не желает встречаться с Кристиной». Не связал я этих слов и с тем, что темнолицый майор, мой сосед, вскочил, что-то пробормотал себе в оправданье, поклонился графу и выбежал из столовой. Я удивился только, когда уже в дверях он повернулся и за спиной у хозяина дома стал кивать Эрику, а потом, к совершенному моему недоумению, даже и мне, как бы приглашая нас за ним следовать. Тут я до того изумился, что смех меня отпустил. Впрочем, я тотчас забыл про майора; он мне не нравился, и к тому же я замечал, что его не жалует маленький Эрик.

Трапеза влеклась как всегда, и мы добрались до десерта, когда взгляды мои привлекло и приковало то, что происхо-

дило в полутьме, в дальнем углу столовой. Там постепенно отворялась вечно закрытая и, как мне говорили, ведущая на антресоли дверь, отворялась, пока я на нее смотрел с прежде не изведанным чувством ошеломленного любопытства, отворилась наконец, и во тьму проема ступила стройная дама в светлом и двинулась прямо на нас. Не знаю, дернулся я, издал ли какой-нибудь звук; лишь грохот упавшего стула заставил меня оторвать взгляд от странной фигуры, и я увидел отца — он вскочил и, бледный как смерть, уронив вдоль тела сжатые в кулаки руки, двинулся даме навстречу. Она меж тем, ничего не замечая, приближалась к нам шаг за шагом, почти подошла уже к графу, и тут он поднялся рывком, схватил отца за руку, пригнул к столу и так держал, покуда незнакомая дама медленно и безучастно продвигалась сквозь освобожденное пространство, шаг за шагом, сквозь неопишущую тишину, в которой звякал, трясаясь, бокал, и скрылась за дверью в противоположном конце столовой. И тогда я увидел, как маленький Эрик, склонясь в глубоком поклоне, притворяет за ней эту дверь.

Я единственный остался сидеть за столом; меня словно придавило к стулу, я вообще уж не чаял с него подняться. На какой-то миг я будто ослеп. Но вот я снова увидел отца. Лицо его было теперь злое, налилось кровью. А старик все не отпускал его руку, как белые когти, вонзив в нее свои пальцы и усмехаясь всегдашней маскоподобной усмешкой. Потом я услышал, как он говорил что-то, и я различал каждый слог, но не понимал смысла сказанного. Однако слова его, верно, прочно легли мне на душу, потому что года два тому назад я отрыл их в памяти и узнал. Слова были:

— Ты горяч, камергер, и неучтив. Зачем мешать человеку идти по его надобностям?

— Кто это? — выкрикнул отец.

— Кое-кто, кому и надлежит здесь быть. Не чужая. Кристина Брае.

И опять в странно тонкой тишине забило дрожью бо-

кал. Тут мой отец резко рванулся и бросился прочь из столовой.

Всю ночь я слышал, как он мерил шагами комнату; я и сам не мог уснуть. Но под утро я вдруг очнулся от странной полудремы, и меня парализовало ужасом что-то белое, присевшее на краю постели. Наконец, в отчаянии набравшись сил, я уткнулся в одеяло и тогда уж разрыдался от беспомощности и страха. Вдруг на мои плачущие глаза повеяло чем-то прохладным и светлым; и чтоб ничего не видеть, я сомкнул их в слезах. Но голос, теперь уж совсем близкий, тихонько и сладковато дохнул мне в лицо, и я узнал его: то был голос фрейлейн Матильды. Тотчас я успокоился, но тем не менее давал себя успокаивать дальше; чувствуя рыхлость и вялость этой доброты, я, однако, с наслаждением ей предавался, почему-то уверенный, что ее заслужил.

— Тетя,— сказал я наконец, пытаюсь собрать по ее растекшемуся лицу черты татан,— тетя, кто была эта дама?

— Ах,— отвечала фрейлейн Брае со вздохом, показавшимся мне смешным,— это одна несчастная, мальчик, одна несчастная.

Наутро я заметил, что слуги в дальней комнате укладывают вещи. Я решил, что мы уезжаем, мне казалось совершенно естественным, что теперь мы уедем. Таково, верно, и было сперва намерение отца. Я никогда не узнал, что побудило его остаться после того вечера в Урнеклостере. Но мы не уехали. Мы еще почти два месяца оставались в этом доме, терпя гнет его странностей, и мы еще трижды видели Кристину Брае.

Я тогда ничего не знал об ее истории. Я не знал, что она давно-давно умерла вторыми родами, оставив ребенка, сына, его страшной и темной судьбе,— я не знал, что она мертвая. Но отец это знал. Решился ли он, сочетавший страстный нрав со стремлением к логике и ясности, решился ли он с терпением и без прекословий подвергнуться

испытанию? Я видел, не понимая, как он себя перебарывал, я почувствовал, не осознав, как он себя победил.

В тот вечер мы в последний раз видели Кристину Брае. На сей раз фрейлейн Матильда тоже явилась к столу; но она была сама не своя. Как в первые дни по нашем приезде, она болтала без умолку, без связи, то и дело сбиваясь, и какое-то физическое беспокойство заставляло ее непрестанно поправлять то платье, то прическу, и вдруг с тонким, жалобным криком она вскочила и убежала.

В тот же миг глаза мои невольно повернулись к известной двери, и в самом деле: вошла Кристина Брае. Мой сосед майор быстро, резко дернулся, так, что это передалось мне, но у него, верно, недостало силы подняться. Темное, старое, испятнанное лицо поворачивалось от одного к другому, рот был разинут и за испорченными зубами дергался язык; потом лицо вдруг исчезло, и на столе лежала седая, серая голова, над ней и под ней, будто переломанные, лежали руки, и откуда-то тянулась вверх и тряслась испятнанная завялая кисть.

А Кристина Брае медленно, как больная, проходила сквозь неопишемую тишину, в которую вторгался единственный звук — поскуливанье старого пса. Но вот слева от большого, наполненного нарциссами серебряного лебедя поднялась большая маска старика с серой усмешкой. Он потянулся бокалом к отцу. И я увидел, как мой отец в тот самый миг, когда Кристина Брае проходила у него за стулом, схватил свой бокал и, как тяжесть, еле оторвал от стола.

В ту же ночь мы уехали.

Bibliothèque Nationale

Я сижу и читаю поэта. В зале много людей, но их не замечаешь. Они — в своих книгах. Время от времени они пошевеливаются между страниц, как спящий между двух снов поворачивается во сне. Ах, как же хорошо быть среди читающих. Отчего люди всегда не такие? Подойди к кому-нибудь, тронь за плечо — он ничего не заметит.

А если, вставая, ты заденешь соседа и извинишься, он кивнет в сторону твоего голоса, обратит к тебе невидящее лицо, и волосы у него — как волосы спящего. Как же от этого хорошо на душе. И я здесь сижу, и у меня — мой поэт. Вот судьба. В зале сейчас человек триста читающих; но мыслимо ли, чтобы у каждого был свой поэт? (Господь ведаёт, что там у них у каждого.) Трехсот поэтов и не наберется. Подумайте, какая судьба. Я, может быть, самый жалкий из этих читающих, иностранец, и у меня — мой поэт. Хоть я беден. Хоть на costume, который я бессменно таскаю, кой-какие места подозрительны, хоть против моих башмаков можно кое-что возразить. Правда, воротник у меня чистый и белье, и в таком виде я могу зайти в любую кофейню даже и на больших Boulevards*, преспокойно запустить руку в блюдо с пирожными и угоститься. И в этом не усмотрят ничего необычного, меня не обругают, не выставят вон, потому что рука эта — все еще рука человека из приличного общества, рука, которую моют четыре-пять раз на день. Да, под ногтями чисто, не испачкан чернилами средний палец и, главное, безупречны запястья. Бедняки не моют рук так высоко, это дело известное. Кое-какие выводы можно сделать из безупречности этих запястий. Их и делают. Делают в лавках. Но есть две-три личности на Boulevard Saint-Michel**, например, и на rue Racine***, которых не проведешь, которым плевать на мои запястья. Они смотрят на меня и все понимают. Они понимают, что я — свой и только разыгрываю комедию. Недаром ведь масленица. Им и не хочется портить мне музыку. Они ухмыляются и подмигивают. Совсем незаметно. Вообще же они обращаются со мною как с барином. А когда кто-то случится поблизости, и вовсе делаются подобострастны. Ведут себя так, будто на плечах у меня меха, а рядом медлит собственный экипаж. Иной раз я подаю им два су и дрожу,

* бульварах (франц.).

** бульваре Сен-Мишель (франц.) — в Париже.

*** улице Расина (франц.) — в Париже.

как бы они не отказались принять; но они принимают. И все б ничего, если б только они не ухмылялись и не подмигивали. Кто они? Чего им от меня надо? Может быть, они меня подстерегают? И почему узнают? Правда, борода у меня немного запущенная и чуть-чуть, самую малость, напоминает их хилые, старые, блеклые бороды, всегда огорчающие меня. Но разве я не вправе забыть о своей бороде? Многие занятые люди забывают о своей бороде, и, однако ж, никому не приходит в голову из-за этого зачислять их в отребье. Мне ведь ясно, что это отребье, не просто нищие; да они и не нищие вовсе, тут надо делать различие. Они — отбросы, кожа человеческая, сплюснутая судьбой. Мокрые от ее слюны, они липнут к фонарям и стенам, к афишным тумбам или медленно стекают по улице, оставляя темный, грязный след. Господи, ну что понадобилось от меня той старухе, которая выволокла из какой-то дыры свой несусветный лоток с пуговицами и иглками? Зачем она пошла рядом, не спуская с меня глаз? Будто силясь меня опознать гноящимися глазами в багровых веках, как заплыванных чахоточной зеленой мокротой? И зачем та седая маленькая простояла со мной у витрины битых четверть часа, показывая мне старый длинный карандаш, бесконечно медленно выползавший из гадких, скрюченных пальцев? Я прикинулся, будто разглядываю разложенные в витрине товары и ничего не заметил. Но она-то знала, что я заметил ее, знала, что я стою и ломаю голову над тем, что она такое выделяет. Потому что я прекрасно понял, что суть не в карандаше: я чувствовал, что это какой-то знак, известный отребью; я подозревал, что она манит меня куда-то, на что-то толкает. И самое странное — я догадывался о действительности договора, определившего этот знак, и не мог отделаться от ощущения, что тут нечему удивляться.

Это было две недели тому назад. А теперь дня почти не проходит без такого подвоха. И не то что в сумерках — среди бела дня, на самых людных улицах появляется

вдруг маленький человечек или старуха, кивает, что-то мне показывает и вновь исчезает, будто сделав свое дело. Когда-нибудь им еще взбредет ввалиться ко мне в комнату, они ведь знают, конечно, где я живу, им ничего не стоит подольститься к консьержу. Но здесь, голубчики, здесь вам до меня не добраться. Надо иметь особый пропуск, чтоб сюда проникнуть. Вот мое преимущество — пропуск. Несколько боязливо, естественно, я пробираюсь по улицам, но наконец я стою у стеклянной двери, я толкаю ее, как у себя дома, у второй двери показываю свой пропуск (в точности как вы мне показываете свои вещи, но с той разницей, что меня-то сразу можно понять, не ломая голову) — и вот я уже среди этих книг, я у вас отнял, как умер, я сижу и читаю поэта.

Вы не знаете, что такое — поэт? Верлен... Ничего не говорит? Решительно не припомните? Нет. Вы не выделили его среди тех, кого знали? Выделять вы не умеете, это известно. Но я читаю другого поэта, который и не в Париже живет, совсем, совсем другого поэта*. Который звенит, как колокол в чистый день. Счастливого поэта, который рассказывает про свое окно и про стекла книжных шкафов, задумчиво повторяющие милые одинокие дали. Вот каким поэтом мне хотелось бы стать; он так много знает о девушках, и я тоже знал бы о девушках много. Он знает о девушках, которые жили сто лет назад; и неважно, что они умерли, раз он все о них знает. Это главное. Он выговаривает их имена, тихие имена, стройно выписанные длинными, старинно петлистыми буквами, и повзрослевшие имена их старших подруг, в которых звенит легкий призыв судьбы, легкий призыв беды и смерти. Быть может, в бюро красного дерева хранятся у него их пожелтые письма и разрозненные листочки из дневников, где описаны дни рожденья, пикники, дни рожденья. И кто знает, нет ли в пузатом комодике у него в спальне ящика, где лежат их весенние платья; белые платья,

* Имеется в виду французский поэт Франсис Жамм (1868—1938), большую часть жизни проведший в своих родных Пиренеях.

обновленные на Пасху, кисейные, в мушках, собственно, летние, но терпенья не было дожидаться. Счастливая судьба — сидеть в тихой комнате, в наследственном доме, среди оседлых, ручных вещей, слушать синиц, пробующих голоса в зеленой прохладе сада, и бой деревянных часов вдальеке. Сидеть, разглядывать карминную полоску заката, многое знать о минувших девушках — быть поэтом. И подумать: я тоже бы мог стать поэтом, найдись у меня жилье, хоть где-то, в заколоченной забытой усадьбе. Мне хватило б одной-единственной комнаты (светлой комнаты в мезонине). Там я жил бы со своими старинными вещами, семейными портретами, книгами. У меня было б кресло, и собаки, и крепкая палка для кремнистых путей. И больше ничего. Нет, еще одна тетрадь в кожаном, желтоватом, как слоновая кость, переплете с цветистой изнанкой: в ней бы я писал. Я писал бы много — у меня было бы много мыслей и воспоминаний.

Но вышло иначе. Господь ведает — почему. Моя старинная мебель гниет в сарае, куда мне позволили ее свалить, а сам я — да, боже ты господи, у меня нет крыши над головой, и дождь капает мне в глаза.

Бывает, я прохожу мимо лавчонок, на rue de Sein* например. Торговцы древностями, старыми книгами, гравюрами, загромождающими витрины. К ним никто не заходит, видно, они прогорают. Но загляните вовнутрь, и вы увидите, как они сидят и преспокойно читают; не пекутся о завтрашнем дне, об удаче, и пес уютно расположился рядом, у ног, а кот крадется вдоль книжных рядов, будто намереваясь стереть с корешков имена.

Довольствоваться бы этим. Я, бывает, мечтаю купить вот такую заваленную витрину и в ней просидеть двадцать лет со своим псом.

Хорошо, конечно, сказать вслух: «Ничего страшного». И снова: «Ничего страшного». Но что толку?

* улице Сены — в Париже.

Что печь у меня чадит и пришлось выйти на улицу — и впрямь небольшая беда. Что я устал и продрог — совершенный пустяк. Сам виноват, что весь день плутал по улицам. Прекрасно мог отсидеться в Лувре. Но нет, это невозможно. Есть люди, которые именно ходят туда погреться. Сидят на бархатных скамеечках, и ноги, как пустые сапоги, в ряд стоят на решетке отопления. Чрезвычайно скромные люди. Они благодарны служителям в темных мундирах и бляхах за то, что они их не гонят. Но стоит войти мне — они ухмыляются. Ухмыляются и подмигивают. И когда я прохаживаюсь вдоль картин, они не спускают с меня взгляда, слитного, переболтанного взгляда. И хорошо, что я не пошел в Лувр. Я все бродил. Господи, где я только не побывал, в каких городах, деревнях, на каких мостах, переездах, заставах! Где-то видел я человека, который толкал перед собой тележку с зеленью. Он кричал: “Chou-fleur, chou-fleur”*, и в этом “fleur” “eu” было странно безрадостное. С ним шла угловатая страшная женщина, она его то и дело подталкивала. Толкнет — и тогда он кричит. Иногда он и сам по себе кричал, но все невпопад, и сразу ему приходилось кричать снова, потому что рядом оказывался дом покупателя. Я сказал уже, что он был слепой? Так вот — он был слепой. Ну да, он был слепой, и он кричал. Но я привираю, когда так говорю, я сбрасываю со счетов тележку, которую он толкал, я делаю вид, будто не обратил внимания на то, что он выкрикивал цветную капусту. Но так ли уж это важно? А если и важно, то не из-за того ли, что значило для меня все вместе? Я видел старика, он был слепой, и он кричал. Вот что я видел. Видел.

Поверит ли кто, что бывают такие дома? Нет, скажут, я говорю неправду. Но на сей раз все правда, ничего не опущено и, уж конечно, ничего не присочинено. Да и откуда бы я их взял? Я же беден. Известно — я беден. Домá? Но если быть совсем точным, это были дома, ко-

* Цветная капуста (франц.).

торых уже нет. Которые снесли, снесли до основания. А были другие дома, те, что рядом, высокие, соседние. Им, очевидно, грозило рухнуть, раз все рядом снесли. Потому что целые леса из длинных осмоленных мачтовых досок, кренясь над загаженным пустырем, подпирали оголенную стену. Не помню, говорил я уже или нет, что за стену. Так вот, это была, так сказать, не первая стена наличных домов (как можно подумать), а последняя стена бывших. Была видна ее внутренняя сторона. Еще различались на разных этажах стены комнат, еще держались обои, кое-где — уступ пола или потолка. Вдоль обоев, по всей стене снизу доверху серела грязная полоса, и по ней невыразимо мерзко, змеино, пищеварительно корчилась голая ржавая труба для стока нечистот. Серые пыльные следы от газовых труб ползли по краям перекрытий и, резко вильнув, вдруг перебирались на цветистую стену и ныряли в черную неряшливую дыру. Но больше всего запомнились сами стены. Стойкая жизнь комнат упрямо не желала сдаваться. Она не уходила, она цеплялась за уцелевшие гвозди, жалась к узким краям полов, устраивала засады в углах, стерегших бывшее комнатное пространство. Она держалась за цвета, которые год от году она меняла: голубой на плесневелую зелень, зелень — на серый, а желтый — на стоялую, протухшую белизну. Она томилась в квадратах, оставленных зеркалами, шкафами, картинами, потому что, тщательно и ревниво огораживая их контуры снова и снова, и в этих укромных местах не убереглась от пыли и паутины, когда они оголились. Она затаилась в каждой протертой полоске, в мокрых волдырях, взбухших по низу обоев, качалась на ободранных клочьях, лезла из гадких, стародавних пятен. И к прежде голубым, зеленым и желтым, разделенным остатками перекрытий, льнул воздух этой жизни, никакому ветру не дававшийся, спертый, вялый, затхлый. В нем стояли болезни, обеды, годами копившиеся вздохи, дым и пот, пятнавший подмышки и любянивший платя, сивушная вонь невымытых ступней. В нем стояли едкость мочи, и серый картофельный чад,

и тяжелая, скользкая горклость сала. Сладкий стойкий запах неухоженных сосунков, и запах школярского страха, и запах похоти от кроватей мужающих мальчиков. А много чего еще поднималось из уличной пропасти, много чего еще просочилось сверху с дождем, нечистым над городами. И много еще чего занесли прирученные домашние ветры, вечно слоняющиеся по одной и той же улице, и много еще было такого, что неизвестно откуда взялось. Я говорил уже, что все стены снесли, кроме последней? Про эту-то стену я и толкую все время. Подумают, будто я перед нею долго стоял; но нет же, чем угодно могу поклясться, я пустился бежать, как только ее узнал. В чем ведь ужас — я узнал ее. Я тут все узнаю, вот оно и входит в меня не спросясь, чувствуя себя во мне как дома.

Я несколько устал от всего этого, можно даже сказать, изнемог, и было уж слишком, чтоб он вдобавок меня поджидал. Он поджидал меня в маленькой сгѣmerie*, где я собирался съесть глазунью: я проголодался, у меня с утра маковой росинки во рту не было. Но есть я не мог; яйца еще не зажарились, а меня понесло обратно на улицу в густой и вязкий кативший навстречу людской поток. Был уж вечер, и масленица, праздные люди толклись и толпились. Лица прихватило заревом витринных огней, смех тек из распяленных ртов, как гной из открытых ран. Они смеялись тем громче и тем теснее жались друг к другу, чем упрямей я пытался прорваться. Какая-то женщина за меня зацепилась шалью, ее притянуло ко мне, и грянул оглушительный хохот, я понимал, что и мне бы полагалось смеяться, но я не мог. Кто-то бросил мне в глаза конфетти, оно меня обожгло как хлыст. На перекрестках, прижатые друг к другу, они застревали и нежно и зыбко раскачивались вверх-вниз, будто совокуплялись стоя. Но хоть они стояли, а я как безумный мчался по краю тротуара там, где в толчее была брешь, на самом деле продвигались они, я же не трогался с места. Потому что ничего не менялось; когда

* кафе (франц.).

бы я ни поднял глаза, я видел все те же дома по одной стороне и напротив — витрины. Быть может, и вообще все стояло на месте, просто у меня и у них кружилась голова и потому только все ходуном ходило. Но у меня не было времени это обдумать, я взмок от пота, и во мне бродила глушащая боль, будто по крови проволакивалось что-то слишком большое и вздувало жилы. Вдобавок я чувствовал, что воздух весь вышел, я глотал лишь то, что отрунули мои же легкие.

Но теперь уж все позади; я выстоял. Я сижу у себя в комнате подле лампы; немного холодно, я не решаюсь затопить печь. Вдруг снова начнет чадить и снова придется бежать на улицу? Я сижу и думаю: не будь я беден, я бы нанял другую комнату, комнату, где мебель была бы не такая старая и помнила не так много жильцов. Сперва мне было не на шутку противно прислоняться головой к этому креслу; на зеленой обивке у него грязно-серая вмятина, приходившаяся, видно, в пору любой голове. Долгое время я даже подкладывал под голову носовой платок; но потом мне надоели эти предосторожности; я обнаружил, что небольшое углубление в самый раз по моему затылку, как по мерке сделано. Но не будь я беден, я купил бы себе хорошую печь и топил бы чистыми, крепкими дровами, которые привозят с гор, а не этими бездарными *têtes-de-poivreau**, от которых спирает дух и путаются мысли. И потом — надо, чтоб кто-то убирал у меня без грубого шума и умел развести огонь так, как я люблю; а то я иной раз по четверть часа на коленках ползаю перед печью, кожа на лбу натягивается от жара, глаза жжет, на это уходят все силы, отпущенные мне на день, и немудрено, что потом, когда я появляюсь на люди, я уже совершенно беззащитен. Частенько, когда на улицах особенная толчея, я брал бы карету и катил бы спокойно мимо, и каждый день я бы ел у Дюваля... а не таскался бы по *cgémeries*... Интересно, он тоже ходит к Дювалю? Нет. Там бы ему не дали

* Букв. «воробьиные головы» (франц.). Каменный уголь в виде мелких катышков.

меня дожидаться. Умиравших в такие места не пускают. Умиравших? Я спокойно сижу в своей комнате; попробую спокойно разобраться в том, что со мною произошло. Всегда лучше выяснить все до конца. Итак, я вышел и сперва увидел только, что столик, за которым я обыкновенно сижу, уже кем-то занят. Я поклонился в сторону маленькой стойки, заказал себе еду и сел рядом. И тут я заметил его, хоть он и не шевелился. Его-то неподвижность я и заметил, и сразу я понял. Между нами установилась связь, и я понял, что он застыл от ужаса. Что его парализовал ужас, ужас перед чем-то совершившимся в нем. Быть может, лопнул кровеносный сосуд, быть может, вот сейчас именно отравы, которой давно он боялся, проникла в сердце или огромный нарыв взошел в мозгу, как солнце, застыл белый свет. Неописуемым усилием воли я принудил себя взглянуть на него снова, еще надеясь, что это одно воображение. Но тотчас я вскочил и кинулся вон; ибо я не ошибся. Он сидел в плотном черном пальто, уткнув серое стылое лицо в шерстяной шарф. Рот был замкнут, будто припертый грузом, и непонятно было, видят ли что-то глаза: запотевшие дымчатые очки скрывали их и чуть подрагивали. Ноздри раздулись, космы на впалых висках увяли, словно от непомерного жара. За ушами, длинными, желтыми, залегли огромные тени. Да, он знал, что сейчас он от всего отрешается, не от одних людей. Еще миг — и все утратит смысл: стол, чашка, стул, в который он вцепился, все будничное и привычное станет непредвосхитимым, трудным и дальним. И он сидел и ждал, когда это случится. И уже не противился.

А я вот еще противлюсь. Хоть и знаю, что у меня сорвано сердце, что мне все равно не жить, даже если мои вороги оставят меня. Я говорю себе: «Ничего страшного», но ведь я потому и понял его, что в самом во мне что-то начало от всего отделяться и отдаляться. Мне всегда было страшно, когда об умирающем говорили: он уже никого не узнает. Я воображал, как одинокое лицо отрывается от подушки

и ищет, ищет знакомых вещей, прежде виденных вещей,— и вокруг ничего нет. Будь мой страх меньше, я мог бы утешиться соображением, что можно ведь видеть все по-иному и жить, однако. Но мне страшно. Меня невыразимо страшит перемена. Я и с этим-то миром никак не освоюсь, где, кажется, так хорошо. Что же мне делать в другом? Я хотел бы остаться среди привычных понятий, а если уж неотменимо суждена перемена — пусть бы дали мне пожить среди собак, в их сходном, родственном нашему миру.

Покамест я могу все это писать и говорить. Но настанет день, когда рука моя отдалится от меня и собственной волей будет чертить слова, которые мне не подвластны. Настанет день иных постижений, и слова раздружатся, смыслы растают, как облака, прольются на землю дождем. Мне страшно, но покамест я еще будто предстою чему-то великому, и, помнится, со мною так часто бывало перед тем, как писать. Но на этот раз не я буду писать — меня напишут. Я — оборот, подлежащий вымарке и переделке. О, еще немного совсем, и я пойму и приму. Один шаг — и боль обратится в радость. Но я не способен на этот шаг, я упал, не могу подняться — я разбился. Всегда я надеялся, что вот-вот подоспеет помощь. И наконец она здесь, со мной, собственным моим почерком выписанная — услышаны мои ежевечерние молитвы. Все это я выписал из книг, чтобы стало мне ближе, чтобы вышло будто мое собственное, из-под моего пера. И мне хочется снова, снова писать эти слова, стать на колени у моего стола и не просто читать их, а писать, писать, тогда они дольше будут со мною и каждое слово продлится и не сразу еще отзвучит.

“Mécontent de tout et mécontent de moi, je voudrais bien me racheter et m’enorgueillir un peu dans le silence et la solitude de la nuit. Âmes de ceux que j’ai aimés, âmes de ceux que j’ai chantés, fortifiez-moi, soutenez-moi, éloignez de moi le mensonge et les vapeurs corruptrices du monde; et vous, Seigneur mon Dieu! accordez-moi la grâce de produire quelques beaux vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le

dernier des hommes que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise”*.

«Люди отверженные, люди без имени, отребье земли! Их-то сделался я ныне песнью и пищею разговора их!

... они направляют гибельные свои пути ко мне...

... все успели сделать к моей гибели, не имея помощника.

... И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня.

Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя.

С великим трудом снимается с меня одежда моя; края хитона моего жмут меня...

Мои внутренности кипят и не перестают; встретили меня дни печали...

И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя — голосом плачевным**.

Доктор не понял меня. Ничего не понял. Да и трудно было рассказывать. Решили попробовать лечение электричеством. Что же. Дали мне талончик: к часу явиться в Salpêtrière***. Явился. Миновал длинный ряд бараков, прошел несколько дворов, где люди в белых колпаках, как преступники, стояли под опустелыми деревьями. Наконец я оказался в длинном темном помещении вроде коридора, где по одной стене четыре тусклых зеленоватых окна перемежались широкими черными простенками. Под окнами тянулась деревянная скамья, и на ней сидели мои знакомцы, и они ждали. Да, все они были в сборе. Освоившись с полуфраком, я разглядел, что среди плотного бесконечного ряда

* Отрывок из «Стихотворений в прозе» Бодлера: «Наскуча всем, наскуча самим собой, я желал бы вновь обрести себя, вновь гордиться собой в тиши одиноких ночей. Души любимых мною, души воспетых мною, укрепите меня, даруйте силы, отдалите от меня ложь и едкий чад земли; а ты, о Господи Боже мой! Сподоби меня написать несколько счастливых стихов, которые бы мне доказали, что я не самый последний из людей, что я не хуже тех, кого презираю».

** Библия. Книга Иова. 30:8—31.

*** Сальпетриер — клиника в Париже.

попадался, кажется, иной люд, просто мелкий люд — ремесленники, горничные, ломовые извозчики. Дальше, в узком конце коридора, развалясь на отдельных стульях, беседовали две толстухи, вероятно консьержки. Я глянул на часы: без пяти час. Еще пять, ну, десять минут, и меня вызовут. Что ж, ничего, ничего. Тяжкий, гнилой дух дыханья мешался с запахом старого платья. В одном месте из дверной щели рвался крепчающий холод эфира. Я принялся ходить взад-вперед. Вдруг я сообразил, что ведь меня направили на этот общий прием. Так сказать, впервые официально признали мою принадлежность к отребью. Значит, доктор догадался? Но я к нему приходил в пристойном костюме, я ему посылал свою карточку. А он все равно как-то узнал, или я сам себя выдал. Но поставленный перед фактом, я решил, что, в сущности, дело не так уж скверно. Все сидели смирно и не замечали меня. Некоторые страдали от боли и, раскачиваясь, старались ее утишить. Кто-то из мужчин уткнулся лицом в ладони, другие тяжело спали, и у этих были тупые, застывшие лица. Толстяк с красной, взбухшей шеей сидел подавшись вперед, уставясь в пол и время от времени смачно плевал в облюбленную точку. Хлюпал в углу ребенок; длинные тощие ноги он подобрал под себя на скамье и тискал, будто навеки с ними прощался. Щуплая, блеклая женщина с черными цветами на съехавшей набок черной креповой шляпке удерживала улыбку на бедных губах, а слезы капали с больных век. К ней посадили девушку, круглолицую, гладкую, с выпученными глазами, лишенными выраженья; у нее был разинут рот, видны белые рыхлые десны и порченные старые зубы. И много было тут повязок. Повязки, слой за слоем окутывавшие голову, оставляя на виду лишь один, одинокий, уже ничей глаз. Были повязки, которые скрывали, и повязки, которые выпячивали то, что под ними. Бинты, которые развязались, и в них, как в грязной постели, лежала рука — уже не рука. А то забинтованная нога выпирала из ряда, огромная, как весь человек. Я ходил взад-вперед и пытался успокоиться. Я занялся стеною напротив. Разглядел, что в ней

несколько одностворчатых дверей, что она не доходит до потолка и, стало быть, не совсем отделяет коридор от расположенных за нею комнат. Я глянул на часы: я уже час ходил взад-вперед. Потом явились доктора. Сперва прошмыгнули двое юнцов с безразличными минами, и наконец тот, к которому я обращался,— в светлых перчатках, щегольской шляпе, безупречном пальто. При виде меня он приподнял шляпу и улыбнулся рассеянно. Теперь-то, я решил, меня сразу вызовут, но прошел еще час. Уж и не помню, чем я его заполнил,— он прошел. Появился старик в грязном фартуке, похожий на сторожа, и тронул меня за плечо. Я шагнул в одну из одностворчатых дверей. Мой доктор и двое юнцов сидели за столом и смотрели на меня. Мне пододвинули стул. Так. А далее я должен был отчитываться в том, что со мной приключилось. Как можно короче, *s'il vous plaît**. Господам некогда. Мне сделалось не по себе. Юнцы оглядывали меня с высокомерным профессиональным участием, которому их учат. Мой знакомый доктор поглаживал черную острую бородку и улыбался рассеянно. Я думал, я расплачусь, но, против ожидания, вдруг услышал, как говорю по-французски: «Я уже имел честь, мосье, рассказать вам все в подробностях. Если вам представляется необходимым в них посвятить своих коллег, вы, разумеется, можете это сделать в немногих словах на основании нашей беседы, мне же это было бы трудно». Доктор поднялся с вежливым смешком, отвел ассистентов к окну и сказал им несколько слов, которые сопровождал горизонтально-волнистым трепетаньем ладоней. Через три минуты один юнец, близорукий и нервный субъект, метнулся к столу и спросил, стараясь придать строгости своему взгляду:

— Хорошо ли вы спите?

— Нет, плохо.

После чего он снова устремился к группе у окна. Они еще некоторое время посовещались, потом доктор вернулся ко мне и уведомил, что меня вызовут снова. Я заметил ему,

* пожалуйста (*франц.*).

что мне назначено было явиться к часу дня. Он усмехнулся и проделал белыми пухлыми ладонями ряд быстрых скачущих жестов, призванных означать, что он выше головы занят. И я вернулся в коридор, теперь еще более затхлый, и принялся снова мерить его шагами, хотя смертельно устал. Наконец от влажных спутанных запахов меня стало мутить, я остановился у входной двери и чуть приоткрыл ее. Я увидел яркий день снаружи, высокое солнце, и мне невыразимо полегчало. Но тотчас меня окликнули. Особа, сидевшая за столиком в двух шагах, шипела на меня. Кто велел открывать дверь? Я отвечал, что задыхаюсь. Это уж мое дело, а дверь придется закрыть. Нельзя ли в таком случае отворить окно? Нет, это запрещается. Я решил возобновить свое хождение взад-вперед, оно отупляло меня, никому не причиняя вреда. Но особе за столиком теперь и это пришлось не по вкусу. Что у меня — места нету? Да, к сожалению. Ходить запрещается. Придется поискать место. Одно-то наверняка найдется. И она оказалась права. Место тотчас нашлось — подле девушки с выпученными глазами. И я сел, чувствуя, что сейчас неотвратимо стряется нечто ужасное. Слева от меня, значит, была та девушка с гнилыми деснами. Что было справа, я понял только несколько позже. То была недвижимая глыба, обладавшая лицом и тяжелой, застылой, громадной рукой. Обращенная ко мне сторона лица была пуста, лишена черт и воспоминаний, и, к моему ужасу, одежда на глыбе сидела как на обряженном покойнике. Так же свободно и безлично повязан был вокруг ворота галстук, и сюртук явственно напылен на безвольное тело кем-то другим. Рука, как ее выложили, так и лежала на брючине, и даже волосы, словно расчесанные обмывальщицей трупов, стлались туго и тускло, как шерсть на зверином чучеле. Я все это разглядел со вниманием, и мне пришло в голову, что мне недаром указано это место, ибо пора уж понять, что я достиг в своей жизни станции назначения. Да, странными путями бродит судьба.

Вдруг совсем близко несколько раз подряд испуганно, сдавленно вскрикнул ребенок, а потом тихонько, удержи-

ваясь, зарыдал. Пока я силился определить, откуда идет звук, снова затрепетал слабенький задушенный крик, и я услышал спрашивающие голоса, приглушенный властный голос, и где-то, ни на что не обращая внимания, безразлично зашуршала машина. Тут я вспомнил о не доходящей до потолка перегородке и понял, что звуки идут из-за дверей и там ведется работа. В самом деле, время от времени появлялся служитель в грязном фартуке и делал знак. Я уж и надеяться перестал, что он может относиться ко мне. Хотя — не ко мне ли? Нет. Появились двое с каталкой. Погрузили в каталку глыбу, и тут только я разглядел, что это старик паралитик, обладавший и другой, опавшей, изношенной стороной лица с открытым, мутным, тоскливым глазом. Его увезли за дверь, рядом со мною сразу освободилось много места. И я стал гадать, что, интересно, станут они делать со слабоумной девушкой, будет ли она тоже кричать. Машина за стеной урчала мирно, уютно, как фабричный станок, не предвещая зла.

Но вдруг все замерло, и в этой тишине надменный, самодовольный голос, показавшийся мне знакомым, произнес:

— Riez!*

Пауза.

— Riez. Mais riez, riez**.

Я уже хохотал. Было необъяснимо, отчего упорствует тот, за перегородкой. Машина зажужжала, тотчас захлебнулась. Был обмен замечаниями, затем прежний энергичный голос вновь возвысился и приказал:

— Dites-nous le mot: avant***.

И по складам:

— A-vant****.

Тишина.

— On n'entend rien. Encore une fois...*****

И вот под рыхлый и теплый лепет за перегородкой впер-

* Смейтесь! (франц.)

** Смейтесь. Смейтесь, смейтесь же (франц.).

*** Скажите нам слово: вперед (франц.).

**** Впе-ред (франц.).

***** Ничего не слышно. Еще раз... (франц.).

вые после многих, многих лет ко мне вернулось оно. То, что вселило в меня первый глубокий ужас, когда ребенком я лежал в жару: Большое. Да, так твердил я, когда мою кровать обступили, мне щупали пульс, спрашивали, что меня напугало: Большое. И когда послали за доктором, он пришел, успокаивал меня, я просил только об одном — прогнать Большое и ничего мне тогда не надо. Но он был как все. Он не мог его прогнать, хоть я был такой маленький и помочь мне было так просто. И вот снова оно тут. Потом оно оставалось вдали, даже в горячечные ночи оно меня не посещало, и вот снова оно тут, хоть у меня нет жара. Оно снова явилось. Разрасталось во мне как опухоль, росло из меня, как вторая голова, было неотторжимо от меня, хотя не могло быть моей частью — такое большое. Как огромный мертвый зверь, который раньше, живьем, был рукой моей или ногою. И моя кровь обращалась во мне и в нем как в одном общем теле. И сердце мое с невероятным усилием проталкивало кровь в Большое. И уже не хватало крови. И она нехотя втекала в Большое и возвращалась больная, отравленная. А Большое вспухало, взбухало на моем лице как горячая синяя шишка, росло изо рта, и тень от его края уже легла на мой уцелевший глаз.

Не помню, как я унес ноги всеми теми дворами. Был вечер, я плутал по чужим местам, брел бульварами, вдоль бесчисленных стен, все в одну сторону, но этому не было конца, и я брел обратно, и я вышел на какую-то площадь. Свернул в какую-то улицу, и там оказались еще незнакомые улицы, еще, еще. Жестко, тряско позвякивая, слепяще проносились трамваи. Но на боках у них были неведомые мне названья. И я не знал, в каком я городе, и есть ли у меня здесь кров, и что мне делать, чтобы больше не бродить.

А теперь еще вдобавок эта болезнь, всегда наступающая меня так странно. Я уверен — ее недооценивают. Точно так же, как преувеличивают значение иных болезней. У ней нет определенных признаков, у этой болезни, она прини-

мает признаки того, кого поражает. С сомнамбулической уверенностью вытягивает она из каждого избегнутую опасность и ставит вновь перед ним — близкую, грозную, неминуемую. Мужчины, в школьные годы предававшиеся жалкому пороку, надругаясь над бедными, жесткими обманутыми мальчишескими руками, снова впадают в него, или вновь страдают от болезни, которой переболели в детстве, или к ним возвращается побежденная привычка, какой-нибудь робкий, годами мучивший поворот головы. И что бы ни воротилось — облеплено путаницей воспоминаний, как мокрыми водорослями затонувший предмет. Незнаемые жизни всплывают со дна, перемешиваются с тем, что в действительности существовало, и теснят прошедшее, считавшееся достоверным; ибо в том, что выныривает из глуби, есть свежая, отдохнувшая сила, а то, что было всегда, увяло от слишком частых воспоминаний.

Я лежу в постели у себя на пятом этаже, и день мой, не перебиваемый ничем, похож на циферблат без стрелок. Как давно потерянная вещь однажды поутру вдруг оказывается на месте, в целости и сохранности и чуть ли не новее, чем до пропажи, будто ее отдавали подновить, — так и на моем одеяле вдруг, новехонькое, оказывается что-нибудь затерянное в детстве. Все затерянные страхи тут как тут.

Страх, что крошечная шерстинка, торчащая из одеяла, — твердая, твердая и острая, как стальная игла; страх, что пуговка на моей ночной рубашке больше моей головы — огромная, тяжелая; страх, что хлебная крошка, упав с моей кровати, стеклянно расколется, и давящая тоска оттого, что с ней вместе расколется все — все и навеки; страх, что оборванный край вскрытого письма прячет запретное, чего никому нельзя видеть, и невообразимо важное, для чего во всей комнате нет надежного места; страх, что я проглочу во сне выпавший из печи уголек; страх, что спятившее число пойдет разрастаться у меня в мозгу и уже перестанет там уместаться; страх, что я лежу на граните, на сером граните; страх, что я буду кричать, к моей двери сбегутся, ее взломают; страх, что я выдам себя, выболтаю

свои страхи, и страх, что я слова не смогу из себя выдавить, ведь словами их не передашь — и еще страхи... страхи. Вот я молил о детстве, оно и вернулось ко мне, и я чувствую, что оно такое же тяжкое, как прежде, и не к чему было взрослеть.

Жар у меня вчера спал, а нынешний день начался как весна, как весна в картинках. Попробую-ка я выйти, пойду в Bibliothèque Nationale, к моему поэту, давно я его не читал, и потом, может быть, прогуляюсь садами. Сейчас, наверное, ветер рябит большой пруд с самой что ни на есть настоящей водою и дети пускают с алыми парусами кораблики.

Сегодня — вот уж не ожидал; я вышел так храбро, словно это проще простого и само собой разумеется. И опять, опять меня подхватило как бумагу, скомкало и смело — на сей раз несусветное что-то.

Бульвар Saint-Michel, пустой и просторный, полого стлался мне под ноги. В вышине со стеклянным звяканьем отворили окно, и через улицу белой птицей перепорхнул блеск. Скользила мимо карета на ярко-красных колесах, дальше кто-то нес что-то светло-зеленое. Лошади, посверкивая сбруей, цокали по темной от поливки, чистой мостовой. Ветер, взволнованный, новый и нежный, взвихривал всё: запахи, выкрики, звоны.

Я проходил мимо одного из тех кафе, в каких поют вечерами поддельные, ряженые цыгане. Из верхних окон, стыдась собственной нечистоты, крался вчерашний дух. Прилизанные официанты расчищали мусор у входа. Один, согнувшись, горстями сыпал под столы желтый песок. Вдруг его поддел локтем прохожий и кивнул в конец улицы. Официант, красный как рак, с минуту остро вглядывался в указанном ему направлении, и наконец смех растекся, как выплеснутый, по его безбородым щекам. Он окликнул других официантов и поводил из стороны в сторону смеющейся физиономией, как бы приглашая всех позабавиться, но и сам боясь что-нибудь упустить. И вот они стояли и смотре-

ли вдоль улицы, кто улыбаясь, а кто досадуя, что пока ничего смешного не наблюдается.

Я почувствовал, как во мне шелохнулся страх. Что-то меня толкало перейти на другую сторону; но я только ускори́л шаг, невольно оглядывая редких прохожих и ничего в них особенного не замечая. Но тут один, мальчишка-рассыльный в синем фартуке и с пустой корзиной на плече, устоялся на кого-то; вдоволь наглядевшись, он повернулся на каблуках, лицом к домам, и, мигнув хохочущему приказчику, покрутил пальцем у виска понятным каждому жестом. Потом сверкнул черными глазами и, довольный, враскачку двинулся мне навстречу.

Я думал, когда он перестанет заслонять мне вид, разглядеть кого-то необычайного и удивительного, но впереди не оказалось никого, кроме высокого, тощего субъекта в черном пальто и мягкой черной шляпе на коротких блеклых волосах. Убедившись, что в одежде и повадках его нет ничего смешного, я собрался уже отвести от него взгляд, как вдруг он обо что-то споткнулся. Я шел следом за ним, и потому стал внимательно смотреть под ноги, но на том месте не оказалось ничего, решительно ничего. Мы оба шли дальше, он и я, на том же расстоянии друг от друга и спокойно достигли перехода, и вот тут человек впереди меня, спрыгивая со ступенек тротуара на мостовую, начал высоко выбрасывать одну ногу — так скачут дети, когда им весело. Другую сторону перехода он одолел одним махом. Но едва оказался наверху, он вскинул одну ногу и подпрыгнул и тотчас притопнул опять. Легко можно было решить, что он споткнулся, если уговорить себя, что на его пути оказалось мелкое препятствие — косточка, скользкая фруктовая кожура — что-нибудь в таком роде; странно, что и сам он, кажется, верил в существование помехи, ибо он всякий раз оборачивался на досадившее место с видом упрека и недовольства, свойственного людям в подобных случаях. Снова что-то толкало меня перейти на другую сторону, и снова я не послушался, я по-прежнему шел за ним, все свое внимание устремив ему на ноги. Должен при-

знать, я вздохнул с облегчением, когда шагов двадцать он спокойно прошел, не подпрыгивая, но, подняв глаза, я заметил, что его мучит новая незадача. У него поднялся воротник пальто, и как ни старался он его опустить, то одной рукой, то обеими сразу, у него ничего не получалось. Такое с каждым может случиться. Я ничуть не встревожился. Но далее с беспредельным изумлением я обнаружил, что суетливые руки проделывают два жеста: один быстрый тайный жест украдкой вздергивает воротник, а другой — подробный, продленный, как бы скандированный — его опускает. Наблюдение это до того меня ошарашило, что лишь две минуты спустя я сообразил, что жуткое двухтактное дерганье, едва оставив его ноги, перекинулось на шею за поднятым воротом и в беспокойные руки. С того мгновения я с ним сросся. Я чувствовал, как это дерганье бродит по телу, ища, где бы вырваться. Я понимал, как он боится людей, и сам я уже пытливо вглядывался в прохожих, чтобы увериться, что они ничего не заметили. Холодное острие вонзалось мне в хребет, когда он опять чуть заметно подпрыгивал, и я решил спотыкаться тоже, на случай, если это заметят. Можно таким способом убедить любопытных, что на дороге в самом деле лежит какой-то пустяк, об который мы спотыкаемся оба. Но куда я размышлял, как ему помочь, он сам нашел новый прекрасный выход. Я забыл упомянуть, что у него была трость? Так вот, это была самая обыкновенная трость из темного дерева с гладким выгнутым набалдашником. В судорожных поисках выхода он вдруг сообразил прижать трость к спине, сперва одной рукой (мало ли на что могла пригодиться другая), хорошенько прижать к позвоночнику, а набалдашник сунуть под воротник, подперев таким образом шейный и первый спинной позвонки. В этом маневре не было ничего вызывающего, он разве чуть-чуть отдавал развязностью, но неожиданно весенний день вполне ее извинял. Никто и не думал на него оборачиваться, и все теперь шло хорошо. Шло как по маслу. Правда, на следующем переходе прорвались два прыжка, два крохотных, сдавленных

прыжочка, совершенно безобидных, а единственный заметный прыжок был обставлен так ловко (как раз на дороге валялся шланг), что решительно нечего было бояться. Да, все шло хорошо. Время от времени вторая рука вцеплялась в трость, прижимала ее к спине еще тверже, и опасность преодолевалась. Но я ничего не мог поделать — страх мой все возрастал. Я знал, что покуда он безмерно силится выглядеть спокойным и небрежным, жуткое содрогание собирается у него в теле, нарастает и нарастает, и я в себе чувствовал, как он со страхом за этим следит, я видел, как он вцепляется в трость, когда его начинает дергать. Выражение рук оставалось строгим и непреклонным, я всю надежду возлагал на его волю, должно быть не слабую. Но что воля?.. Настанет миг, когда силы его истощатся, и теперь уж недолго. И вот, идя за ним следом с обрывающимся сердцем, я, как деньги, копил свои жалкие силы и, глядя ему на руки, молил принять их в нужде.

Думаю, он их и принял. Моя ли вина, что их было так мало...

На Place Saint-Michel было большое движение, сновал народ, то и дело мы оказывались между двух экипажей, и тут он переводил дух, отдыхал, что ли, и тогда случался то кивок, то прыжок. Быть может, то была уловка плененной, но несдававшейся немочи. Воля была прорвана в двух местах, и в бедных пораженных мышцах засела сладкая покорная память о заманчивом возбуждении и одержимость двухтактным ритмом. Палка, однако, была на месте, руки глядели зло и надменно; так мы ступили на мост, и все шло сносно. Вполне сносно. Но здесь в походке появилась неуверенность, два шага он пробежал бегом — и остановился. Остановился. Левая рука тихо выпустила трость и поднималась — до того медленно, что я видел, как она колышет воздух. Он чуть сдвинул на затылок шляпу и потер лоб. Он чуть повернул голову, и взгляд скользнул по небу, домам, по воде, ни на чем не удерживаясь, и тут он сдался. Трость полетела, он раскинул руки, будто собрался взмыть, и как стихия его согнула, рванула вперед, швырнула назад, за-

ставила кивать, гнуться, биться в танце среди толпы. Тотчас его обступили, и уже я его не видел.

Какой смысл был еще куда-то идти? Я был весь пустой. Как пустой лист бумаги, меня понесло вдоль домов, по бульварам, обратно.

* Я пытаюсь тебе писать, хоть ничего уж не скажешь после вынужденного прощанья. И все-таки я пытаюсь, я должен, наверное, писать тебе, ведь я видел в Пантеоне святую, одинокую святую, и крышу, и дверь, и лампаду, укромный круг света, а вдалеке спящий город, и реку, и лунный простор. Святая стережет спящий город**. Я расплакался. Я расплакался оттого, что все так вдруг и неожиданно на меня навалилось. Я стоял и плакал, я ничего не мог с собою поделать.

Я в Париже, и кто это узнает — все радуются, многие мне завидуют. Что ж, они правы. Париж — большой город, большой, полный странных соблазнов. Что до меня, должен признаться, в известной мере я им поддался. Да, иначе, верно, не скажешь. Я поддался соблазнам, и следствием явились некоторые перемены если не в моем характере, то по крайней мере в моем мирозерцании и уж во всяком случае в моей жизни. У меня выработалось совершенно иное понимание вещей, которое больше меня отделяет от всех других, чем предыдущий опыт. Преображенный мир. Новая жизнь, полная новых значений. Сейчас мне как раз несколько даже трудно оттого, что все так ново. Я новичок в собственных обстоятельствах.

Как бы хоть одним глазком взглянуть на море?

Да, и подумать только, я-то воображал, что ты можешь приехать. И разузнать насчет доктора. Я так и не собрался навести справки. Впрочем, теперь мне уж и не до того.

Помнишь невероятное стихотворение Бодлера “Упе

* набросок письма (примечание Рильке.).

** Цикл росписей в Пантеоне на тему жития св. Женевьевы, которая, по преданию, спасла Париж от нашествия гуннов; выполнен французским художником Пюви де Шаванном (1824—1898).

Chagogne**? Я, кажется, только теперь его понял. Кроме последней строфы — все правда. Что еще должен он был написать, когда над ним разразилось такое? Его дело было увидеть в ужасном, с виду отталкивающем — сущее, единственно важное сущее. У нас нет ни выбора, ни права отбора. Думаешь, случайно написал Флобер своего Saint-Julien-L'Hospitalier***? Что, мне кажется, главное: вот решишься лечь к прокаженному, согреть его жаром влюбленного сердца — и это непременно обернется добром.

Ты только не подумай, будто я здесь страдаю от разочарований, — о, напротив. Я иногда даже сам удивляюсь тому, с какой легкостью я готов поступиться всем чаемым ради действительного, как бы оно ни было горько.

Господи боже, если бы можно им поделиться! Но разве оно было бы тогда? Было бы? Нет, оно и существует лишь ценой одиночества.

Ужасное — в каждой частице воздуха. Его втягиваешь в легкие вместе с прозрачностью; но в тебе оно оседает, твердеет, острыми геометрическими краями врезается в органы; ведь все, что рождается пыточного и страшного на эшафотах, в застенках, сумасшедших домах, операционных, под сводами мостов поздней осени, — все не сдается и, ревнуя к сущему, упрямо настаивает на своей страшной яви. Ты хочешь его забыть; сон готовно стирает в мозгу его борозды, но сновиденья отменяют работу сна, вновь прочерчивая стертые знаки. И ты просыпаешься, задыхаясь, и проливаешь пламя свечи во тьму, и, как сладкую воду, глотаешь рассветные струи покоя. Но на каком же узком краешке держится этот покой! Одно неловкое движение — и снова взгляд идет сквозь знакомое, дружественное и за обманными утешными контурами ловит очертания ужаса. Бойся света, углубляющего полость пространства; не ози-

* «Падалъ» (франц.) — одно из программных стихотворений Бодлера из сборника «Цветы зла». Написано в 1857 г.

** «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» Флобера (1876 г.) написана по мотивам притчи о человеке, который лег в постель к прокаженному во искупление смертного греха.

райся, чтобы часом не увидеть, как встает у тебя за спиною, порабощая тебя, тень. Нет, уж лучше, наверное, было оставаться во тьме, принимая неотграниченным, тяжким сердцем неразлично общее бремя. Вот ты весь собрался; сам видишь свой предел; время от времени неуверенным жестом ощупываешь собственное лицо. А внутри у тебя уже не хватает места; и тебя чуть не тешит мысль, что в такой тесноте ничто большое не может обосноваться; что даже небывалое, входя вовнутрь, должно сократиться, сжаться, чтобы прийтись остальному по мерке. Но снаружи — снаружи оно непревосхитимо; и когда снаружи оно растет, оно прибывает и в тебе, не в сосудах, которые ведь отчасти тебе подвластны, не во флегме твоих безразличных органов, но в капиллярах: засасываемое этими трубочками, оно проникает в самые дальние закоулки бесконечно разветвленного твоего существа, поднимается, поднимается, превышает тебя, и ты захлебываешься, задыхаешься. Ах! И куда же, куда же тогда? Сердце выталкивает тебя наружу, тебя гонит, ты уже почти вне себя и не можешь в себя воротиться. Как раздавленный жук, ты истекаешь собою, и тебя уже не спасет твоя легкая оболочка.

О, пустая ночь! И ослепшие окна во тьму! Припертые тщательно двери. Старый, перенятый, выверенный уклад — так до конца и не понятый. О, тишина на лестнице, тишина в комнатах рядом, притаившаяся под потолком тишина. И мать — единственная, эту тишину отстранявшая, когда-то в далеком детстве. Ты принимала ее на себя, ты говорила: «Не бойся, это я». У тебя доставало духу самой посреди ночи стать тишиною для того, кто боится, кто погибает от страха. Ты зажигаешь свечу, и уже ты становишься шорохом. Ты держишь перед собою свечу, говоришь: «Это я, не бойся». И — медленно — ты опускаешь свечу, и сомнений не остается: это ты, ты свет вокруг милых, ручных вещей, вставших рядом без задних мыслей и без утайки. И когда что-то прошуршит по стене, когда заскрипит половица, ты улыбаешься, прозрачная на свету, улыбаешься вспугнутому лицу, глядящему на тебя с вопросом, будто

ты заодно с робким звуком, будто ты в сговоре с ним. Сравнится ли с твоей властью власть повелителей мира? Вот — цари земные лежат, застыв, и развлечь их не под силу никакому сказителю сказок. В сладких объятьях возлюбленных их настигает тоска, обессиливает, отнимает веселие сердца. А ты — ты оставляешь страшное позади, заслоняешь его собою; не как занавес, который ведь может оно приподнять и отдернуть. Нет, ты его обгоняешь, бросаясь на бедственный зов. Ты обгоняешь все, что еще может страстись, верная только своей поспешности, вечному своему пути, лёту своей любви.

Mouleur*, мимо лавки которого я ежедневно прохожу, выставил две маски. Лицо юной утопленницы, отлитое в морге за то, что оно так прекрасно, и оно улыбается странной, обманной улыбкой, будто улыбкой знания. И его лицо — знающее лицо. Крепкий узел туго стянутых чувств, сгущение музыки, упрямо порывающейся испариться. Лицо того, кому Господь преградил слух**, не оставив ему иных тонов, кроме его собственных. Чтобы не плутал среди торных и мутных шумов — он, вместилище их протяженной прозрачности; чтобы в полном беззвучии ему открывался мир, немой, незаконченный, прося завершения в звуках.

Завершитель мира! Как то, что беспечно, случайно падет на землю и воды дождем и, послушно законам природы, вновь поднимется, воспарит, образует свод неба,— так и в тебе восходят все наши осадки, чтобы мир окутала музыка.

Твоя музыка. Чтобы весь мир окутала; не только нас. Чтобы для тебя был сработан клавиш в Фиваиде, и ангел подвел бы тебя к тоскующему инструменту сквозь горные цепи, где цари покоятся, и пустынники, и гетеры. И тотчас бы бросился ввысь и прочь, в страхе, что вот ты начнешь.

И ты бы взбурлил, бурный, неслышанный, возвращая вселенной то, что лишь ей под силу вместить. Суеверных

* Литейщик (франц.).

** Имеется в виду Бетховен.

бедуинов отшвырнуло бы вдаль, и купцы пали ниц, принимая к краям твоей взвихренной музыки. И одинокие скимны кружили бы в отдалении ночи, сами себя страшась, слушая ток своей крови.

Кто же ныне тебя защитит от похотливых ушей? Кто изгонит с концертов их — продажных с бесплодным слухом, блудящих не зачиная? Исторгается семя, а они его принимают, забавляясь, как шлюхи, оно падает пусто, как семя Онана.

И нет девственного, творец, нет ни одного с бессонным ухом для твоих звуков. А ведь он бы умер от счастья или, зачав бесконечное, изошел небывалостью новизны.

Нет, я все понимаю. Конечно, здесь требуется мужество. Но предположим на минуту, что у кого-то сыщется *coupage de luxe** выследить их и выяснить раз навсегда (как же потом забыть или с чем-нибудь спутать такое?), куда забиваются они после, и куда девают остаток долгого дня, и спят ли они ночами. Это особенно важно установить: спят ли они. Но одного мужества тут недостаточно. Ведь они не то что придут и уйдут, как все люди, которых выследить проще простого. Вот ведь они здесь, и вдруг снова их нет — выставлены и убраны, как оловянные солдатики. Попадаются они в укромных, но не то чтобы тайных местах. Отступит кустарник, тропка легкой дугой обежит лужайку — и вот они, будто под колпаком из стекла, в прозрачном обрамлении простора. Ты можешь их принять за призадумавшихся прохожих, этих маленьких, неприметных, скромных во всех отношениях человечков. Но ты ошибешься. Видишь левую руку, что-то нашаривающую в кармане обшарпанного пальтеца? Видишь, как она ощупывает, извлекает, протягивает что-то мелкое нарочито неверным жестом? Не проходит минуты, и вот уж две-три птички — любопытные воробушки — тут как тут. И если человечку удастся соответствовать их очень точному понятию о неподвижности, у воробушков нет причины не подлететь

* безмерная храбрость (франц.).

совсем близко. И наконец один вспархивает и нервно бьет-ся на высоте руки, которая (видит Бог) держит кусочек черствого сладкого хлебца в неприятзательных, подчеркнута ненавязчивых пальцах. И чем больше топчется вокруг зевак — на почтительном расстоянии, разумеется, — тем меньше имеет он к ним касательства. Он стоит как светильник, разогретый догорающим фитилем, и не шелохнется. И чем он приваживает, чем привораживает — судить не глупым маленьким птичкам. Не будь народа кругом, и будь у него возможность постоять так подольше, я уверен, ангел бы слетел с высоты и, одолев отвращенье, съел бы черствый сладкий кусочек с чахлой руки. Но вечно тут люди. И уж они-то следят, чтоб слетались одни только птицы; они считают, что ему и так хорошо, что ничего другого он желать и не может. Чего еще может желать старое, дождями побитое чучело, косо, как ростра, торчащее из земли, по далеким садикам у нас дома? Не оттого ли у него эта поза, что когда-то оно выстояло среди бурь? Не оттого ли и вылиняло оно, что когда-то было пестро и ярко? Расспроси-ка его, не хочешь?

Только женщин ни о чем не расспрашивай, когда увидишь, как они кормят птиц. Их-то как раз можно бы выследить, эти кормят птиц мимоходом, это было б нетрудно. Но оставь их в покое. Они сами не знают, откуда что берется. Просто в ридикюле у них вдруг оказывается много хлеба, и они вытаскивают из-под жидкой мантильки большие куски, точно жеванные и клеклые. Им лестно думать, что их слюна погуляет по свету, что воробушки в клювах разнесут ее вкус, хоть сами они тотчас забудут воробушков.

Вот я сидел над твоими книгами, упрямец*, и старался к ним подойти, как другие, которым нет дела до тебя — всего целиком, которые довольствуются облюбованной частью. Я не понимал еще тогда славы, этого публичного разрушения возводимого здания, когда на строительную площадку, разнося камни, врывается толпа.

* Речь идет об Ибсене.

Неведомый молодой человек, если в тебе занимается что-то, бросающее тебя в трепет, радуйся, что никто не знает тебя. И когда тебе перечат почитающие тебя ничтожеством, когда тебя предадут те, с кем ты дружил, когда ищут погубить тебя из-за дорогих тебе мыслей — что значит эта явная опасность, не посягающая на главное, рядом с лукавой пагубой славы, которая тебя обезвреживает, сокрушив.

Никого не проси говорить о тебе, даже с презрением. А когда минет время и ты заметишь, что твое имя в ходу у людей, — не принимай его серьезнее прочего, что сходит с их уст. Реши — оно износилось. Сбрось его. Смени на другое, любое, каким Господь сможет окликнуть тебя в ночи. И таи от всех.

Самый одинокий, самый отъединенный, как же легко попался ты им в сеть славы. Давно ли они были тебе враждебны, и вот идут с тобой рука об руку, как со своим. Таскают за собой в клетке своей спеси твои слова, показывают на площадях, науськивают с безопасного расстояния, твоих-то страшных хищников.

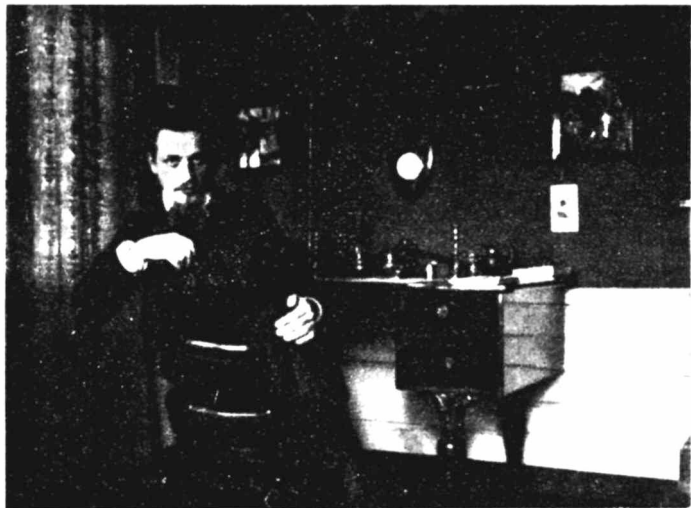
Когда я прочитал тебя впервые, они вырвались от меня и обложили в моей пустыне — отчаявшиеся. Отчаявшиеся, как ты сам в конце пути, ложно проложенного на всех картах. Трещиной вспарывает небо бешеная гипербола твоей тропы, едва пригибаясь к нам, чтобы тотчас с отвращением отпрянуть. Что тебе было в том, ушла женщина или осталась, охватило кого-то головокружение или безумье, оживают ли мертвецы, кажутся ли мертвецами живые, — что тебе в том? Все это было для тебя так естественно; ты проходил сквозь это все, как проходят прихожую, не оборачиваясь. Но ты останавливался и сгибался там, где кипит наша судьба и меняется в цвете, — внутри. Никто еще не проникал так глубоко вовнутрь. Перед тобой распахнулась дверь — и вот ты перед колбой, в свете огня. Ты никого не пускаешь к себе, недоверчивый, ты сидишь взаперти и разглядываешь переходы. И поскольку твое призвание показывать — не лепить, не облекать образами, — ты принимаешь немислимое решение: то ничтожное, что и сам сперва раз-

личил в пробирке, без посторонней помощи, в одиночку, увеличить так, чтобы оно, огромное, стало достоянием тысяч, всех. Так начался твой театр. Ты не мог дожидаться, пока почти неразличимое, спрессованное весом веков будет открыто другими искусствами, постепенно представится взорам немногих, которые мало-помалу объединятся в своем понимании и наконец захотят убедиться в достоверности поразительных слухов, глядя на сцену. Ты не мог этого дожидаться. Ты хотел заметить почти неизмеримое: как на полградуса подогревается чувство, чуть заметно колеблется почти не стесняемая воля, как неуловимо мутится желание, почти неразличимо расплываются краски доверия. Вот что тебе нужно было выяснить. В таких переходах и была теперь жизнь, наша жизнь, ускользнувшая вовнутрь и запрятавшаяся так глубоко, что к ней почти не осталось подступа.

Но будучи призван подмечать и показывать — безвременный, трагический поэт, — ты одним махом преобразовал эти тончайшие незаметности в очевиднейшие жесты. Далее ты решился на беспрецедентное насилие над своим искусством, все неистовой, все исступленной отыскивая среди внешнего и видимого соответствия тому, что открыто лишь внутреннему взору. Так на сцене оказался кролик, чердак, зал, который кто-то мерит шагами, звон разбитого стекла за стеной, и пожар за окном, и солнце. И церковь, и похожая на церковь скала. Но и этого тебе было мало; понадобились башни, и горные гряды, и лавины погребли целые местности, сокрушая загроможденную осязаемым сцену во имя непостижимого. Дальше было уже некуда. Притянутые тобою концы распрямились, твоя могучая сила оставила гибкий тростник, на нет свелась твоя работа.

Иначе кто поймет, отчего под конец ты не желал отходить от окна, все такой же упрямец. Тебе хотелось видеть прохожих. Тебя осенила мысль, что и они могут на что-то согдаться, если вдруг начать все сначала.

Тогда мне впервые открылось, что никто ничего не может толком сказать об одной женщине. Я замечал, как они обе-



Рильке в 1901 году

регали ее, переходили на других, на другое — обстоятельства, вещи, места — и распространялись до определенной черты, где все останавливалось, стопорилось и останавливалось, вдруг наткнувшись на ее легкий, едва обозначенный контур. «Какая она была?» — спрашивал я тогда. «Волосы у нее были светлые, как у тебя», — отвечали мне и что-то еще прибавляли, и сразу образ снова стирался, и я никак не мог ее себе представить. Увидеть ее мне удавалось лишь тогда, когда татап рассказывала мне ее историю, которой я от нее требовал снова и снова. И всякий раз, когда она доходила до сцены с собакой, она закрывала глаза, остужая у висков прохладными пальцами совершенно отрешенное и все светящееся лицо.

— Я видела это, Мальте, — говорила она. — Я это видела.

Я услышал это от нее в самый последний ее год. В то время, когда она уже никого не хотела видеть и нигде, даже в поездках, не расставалась с частым серебряным ситечком, через которое процеживала любое питье. К твердой пище она совсем не притрагивалась, разве что крошила кусочек хлеба или бисквит и ела наедине крошку за крошкой, как их едят дети. Ужас перед булавками к тому времени ее совершенно поработил. Другим она только говорила, оправдываясь: «Я не в состоянии есть, но пусть это вас не тревожит, я прекрасно обхожусь без еды». Но ко мне она вдруг иногда поворачивалась (я был уже как-никак большой) и с вымученным смешком говорила: «Сколько же всюду булавок, Мальте, где только они не натканы, и как подумаешь, до чего легко они выпадают». Она изо всех сил старалась выдать свои слова за шутку, но ее трясло при мысли о незакрепленных булавках, которые всякую минуту могут во что-то попасть.

Но когда она говорила об Ингеборг, ей ничто не грозило; она ничего не остерегалась; она говорила громче, она смеялась, вспоминая смех Ингеборг, и было совершенно очевидно, как Ингеборг была прекрасна. «Она всем нам давала счастье, — говорила она. — И твоему отцу, Мальте, да, имен-

но счастье. Но потом, когда мы узнали, что она умирает (хотя нам казалось, что она только прихворнула слегка), и мы это скрывали от нее, она однажды села в постели и сказала будто сама с собой, будто вслушивалась в звук своих слов: «Не надо притворяться, вы все знаете, и я успокою вас, хорошо, что это так, я больше не могу». Подумай, Мальте, «я больше не могу» — так и сказала. И это она, которая всем нам давала счастье. О, поймешь ли ты, когда вырастешь, Мальте? Поразмысли когда-нибудь. Быть может, ты догадаешься. Хорошо бы кто-то был, кто понимает такие вещи».

«Такие вещи» занимали тапап, когда она бывала одна, а она почти всегда бывала одна в эти последние годы.

— Мне никогда этого не понять, Мальте,— говорила она часто со странно смелой усмешкой, ни для чьих глаз не назначавшейся и исполнявшей все свое назначение, уже тронув губы.— Но как жаль, что никому не хочется докопаться. Будь я мужчиной, да, именно, будь я мужчиной, уж я бы поразмыслила об этом, обо всем по порядку, с самого начала. Ведь должно же тут быть начало, и если б напасть на него, уж и то бы хорошо. Ах, Мальте, вот мы уходим, и, кажется мне, все так озабоченны и рассеянны, что и внимания не обращают на то, что мы уходим. Будто звезда упадет, а никто не заметит и не загадает желания. Я думаю, исполнения желаний и нет никакого, но есть желания, которые держатся долго, всю жизнь, так что и дожидаться нельзя исполнения.

Мапап велела внести к ней в спальню маленькое бюро Ингеборг, и я часто заставлял ее за ним, ибо мне разрешалось входить когда угодно. Мои шаги совершенно тонули в ковре, но она чувствовала мое приближение и через плечо тянула мне руку. Рука совсем не имела веса, и я как прикладывался к распятию слоновой кости, которое мне давали целовать перед сном. Она сидела у низенького бюро с откинутой крышкой, словно перед фортепиано.

— Как много в нем солнца,— говорила она, и в самом деле, внутренность бюро удивительно светилась старым

желтым лаком, расписанным цветами всюду — один красный, один синий. А там, где сходилось по три цветка, неизменно разлучал два остальных лиловый. Цветы эти вместе с зеленью узких горизонтальных усиков были в той же мере затенены, в какой сиял фон, не будучи собственно светлым. Это вело к особенной робкой гармонии скрывавших свою близость тонов.

Мапап выдвигала ящики, все до единого пустые.

«Ах, розы», — говорила она и чуть склонялась над смутным, невыдохшимся запахом. При этом она воображала, будто, повинувшись скрытой пружинке, ей вдруг откроется никому не ведомый потайной ящичек. «Вот увидишь, он откроется», — говорила она серьезно и озабоченно и торопливо выдвигала все ящики подряд. Но те бумаги, которые в ящиках и вправду оказались, она аккуратно сложила и спрятала не читая. «Я бы тут ничего не поняла, Мальте, это, конечно, чересчур для меня мудрено. — Она была убеждена, что все для нее слишком сложно. — Жизнь не устраивает классов для приголовишек. С нас вечно спрашивают самое трудное». Меня уверяли, что она стала такая после смерти сестры, графини Оллегор Скелл, которая, собираясь на бал, поправляла перед зеркалом цветы в волосах, слишком близко пригнулась к свече и сгорела. Но в последнее время она, кажется, особенно билась над загадкой Ингеборг.

И вот я записываю эту историю, как рассказывала ее папап, когда я просил.

Было это летом, в четверг, после погребения Ингеборг. С того места на террасе, где мы пили чай, виден был свод фамильного склепа меж огромных вязов. Чай сервировали так, словно здесь и не сиживало никогда одной персоной больше, и сами мы очень просторно расселись, и каждый что-то принес, книжку, вышиванье, так что нам даже тесно казалось. Абелона (младшая сестра папап) разливала чай, все что-то передавали по кругу, и только дедушка твой смотрел со своего места на дом. Был час, когда ждали почту, и письма приносила всегда Ингеборг, которую распоряжения по хозяйству дольше других задерживали в доме. За

недели ее болезни мы успели отвыкнуть от ее появлений; потому что прекрасно знали, что появиться она не могла. Но в тот вечер, Мальте, когда она в самом деле уж не могла прийти... в тот вечер она пришла. Быть может, это мы виноваты, быть может, мы ее вызвали. Потому что, помнится, я все старалась вспомнить, что же теперь изменилось. Вдруг я совсем запуталась. Я забыла. Я подняла глаза и увидела, что остальные тоже смотрят на дом, и не как-нибудь странно, особенно, но совершенно спокойно, с привычным ожиданием. И я чуть было (как вспомню, так вся холодею, Мальте), но прости меня, Господи, я чуть было не сказала: «Да где же...» — и тут Кавалер выскочил из-под стола, как всегда, и побежал ей навстречу. Я видела это, Мальте, я это видела. Он побежал ей навстречу, хотя ее не было. Для него она была. Мы поняли, что он бежит ей навстречу. Дважды он оглянулся на нас, словно с вопросом. Потом кинулся к ней, как всегда, Мальте, совершенно как всегда. И он подбежал к ней. Ведь он стал прыгать вокруг нее, Мальте, прыгать вокруг чего-то, чего не было, и он скакал прямо на нее, скакал высоко, чтоб ее лизнуть. Он визжал от радости, мы слышали, и он так быстро скакал, вполне можно было вообразить, будто он ее заслоняет от нас своими скачками. И вдруг он взвыл, перевернулся в прыжке, удивительно неуклюже метнулся назад, странно плоско растянулся перед нами и уже не шелохнулся. С дальнего крыла дома показался лакей с почтой. Он замешкался. Нелегко было, верно, идти навстречу нашим лицам. Да и твой отец знаком его остановил. Твой отец, Мальте, не любил животных; и все равно он встал со своего места, как-то так медленно, и склонился над собакой. Что-то сказал лакею, коротко, отрывисто. Я увидела, как лакей кинулся поднимать собаку. Но твой отец сам поднял Кавалера и понес к дому, будто твердо знал, где надо его положить.

Однажды, когда во время рассказа татап почти совсем стемнело, я чуть не рассказал ей про *руку*. Я готов был ей рассказать. Я уже глубоко вздохнул, приготовляясь. Но

вдруг я очень отчетливо понял лакея, понял, как он не мог идти навстречу их лицам. И, несмотря на убывающий свет, я испугался лица матап, какое будет у нее, когда она увидит то, что я видел. Я поскорей еще раз глотнул воздух, словно ничего другого и не замышлял. Несколько лет спустя, после знаменательной ночи на галерее в Урнеклостере, я не один день носился с мыслью довериться маленькому Эрику. Но после нашего ночного разговора он только еще больше отдалился от меня. Он меня избегал. Быть может, он стал меня презирать. Но оттого-то как раз мне и хотелось ему поведать про *руку*. Я воображал, что вырасту в его глазах (к чему я действительно стремился, сам не знаю зачем), если сумею ему доказать, что в самом деле все это испытал. Но Эрик уклонялся с такой ловкостью, что ничего у меня не вышло. Да мы и уехали вскоре. А потому, как ни странно, сейчас я впервые расскажу (да и то самому себе) о случае, уже далеко отодвинутом в дни моего детства.

Насколько я был еще маленький, я сужу по тому, что я устроился на коленках в кресле, чтобы доставать до стола, на котором я рисовал. Был зимний вечер, если не ошибаюсь, в городской квартире. Стол стоял в детской, в простенке между окон. В комнате не было другой лампы, кроме той, которая бросала свет на мое рисованье и на книжку *mademoiselle*. *Mademoiselle* сидела тут же, слегка откинувшись на стуле и погруженная в чтение. Читая, она бывала всегда далеко, и едва ли в книге. Она могла читать ее часами, почти не листая, и мне казалось, что страницы все заполнялись и заполнялись, будто своим взглядом она в них вносила слова, те слова, которые она там хотела найти и не находила. Так представлялось мне, пока я рисовал. Я рисовал медленно, без определенного плана, и когда не знал, что рисовать дальше, я оглядывал рисунок, склонив голову к правому плечу; так я скорей замечал, чего мне недостает. Тут были конные ратники, скакавшие в бой или уже в кипении битвы, что облегчало дело, ибо в этом случае не приходилось рисовать решительно ничего, кроме клубов все окутывавшего дыма. Матап всегда уверяла, правда, что я рисовал острова,

острова с большими деревьями, и замком, и лестницами, и цветами на берегу, кажется, даже отражавшимися в воде. Боюсь, она сочиняла или это было уже гораздо поздней.

Но в тот вечер я определенно рисовал рыцаря, одинокого, легко опознаваемого рыцаря на очень нарядном коне. Он выходил у меня до того ярким, что я то и дело менял карандаши, особенно часто прибегал к красному и тянулся за ним снова и снова. Он как раз мне понадобился, но вдруг покатился (как сейчас вижу) поперек моего освещенного листка на край стола, упал, прежде чем я успел его подхватить, и исчез. Мне он нужен был до зарезу, и очень досадно было, что надо за ним лезть под стол. По моей неуклюжести, мне пришлось сперва проделать ряд подготовительных телодвижений. Собственные мои ноги оказались чересчур длинными, и я никак не мог их из-под себя вытянуть; я так долго стоял на коленках, что они затекли; я уже не мог разобрать, где кончаюсь я и где начинается кресло. Наконец, несколько сконфуженный, я очутился на полу, на пушистой шкуре, разостланной под столом до самой стены. Но здесь меня ожидало новое затруднение. Взгляд, привыкший к свету и раззуженный блеском белого раскрашенного листка, ничего не различал под столом, и тьма казалась мне до того плотной, что я боялся об нее стукнуться. Пришлось довериться осязанию, и, стоя на коленках, опираясь на левую руку, правой я расчесывал длинные прохладные космы шкуры, нежно мне поддававшейся, но не выдававшей карандаша. Я решил уже, что напрасно теряю время, хотел окликнуть *mademoiselle* и попросить, чтобы она посветила мне лампой, но тут обнаружил, что тьма разрежается под моим напряженным взглядом. Я различал уже стену со светлым выступающим плинтусом, я разглядел все ножки стола; я видел свою собственную растопыренную руку, которая, как какая-то подводная тварь, двигалась совершенно самостоятельно. Я следил за ней, помнится, почти с любопытством; она будто знала вещи, которым я ее никогда не учил, она ощупывала мех движениями, каких я не замечал за ней прежде. Я следил за нею с интересом, го-

товый ко всему. Но как мог я ожидать, что ей навстречу вдруг отделится от стены другая рука, но больше, невероятно тонкая рука, каких я в жизни не видывал! Она в точности так же ощупывала мех, и две растопыренные пятерни слепо двигались одна другой навстречу. Любопытство мое, не будучи удовлетворено, вдруг иссякло, уступив место ужасу. Я чувствовал, что одна рука принадлежит мне и вот-вот она вяжется в непоправимое что-то. Призвав на помощь всю власть, еще остававшуюся у меня над нею, я медленно отвел ее назад, не отрывая глаз от другой руки, которая продолжала к ней подбираться. Я понял, что она не отступит. Не знаю, как я выбрался из-под стола. Я упал в кресло; зубы у меня стучали, кровь совсем отлила от лица, мне казалось, что даже глаза у меня побелели. “Mademoiselle”, — пытался я выговорить — и не мог. Но уже она сама испугалась, отбросила книгу, опустилась на колени перед моим креслом, она окликала меня. Кажется, она меня трясла. Но я был в полном сознании. Я раза два глубоко вздохнул — мне хотелось ей рассказать.

Но как? Я изо всех сил старался овладеть собой. Но у меня не было средств выразить то, что со мною случилось. Если бы даже для подобного имелись слова, я был слишком мал, чтобы напасть на них. Вдруг мне стало страшно, что, несмотря на мой возраст, они у меня найдутся, эти слова, и страшной всего на свете мне показалось их выговорить. Снова, сначала, иначе пережить все случившееся под столом, называть это, слушать собственный голос — было для меня уже слишком.

Конечно, мне только кажется, будто уже в те времена я понял, что нечто вошло в мою жизнь, именно в мою, с чем мне суждено оставаться один на один — всегда. Вижу себя в своей кровати с сеткой — я не могу уснуть и начинаю смутно догадываться, какова будет жизнь: она полна особенных, отдельных вещей, назначенных только для одногоединственного, и рассказать о них невозможно. Но бесспорно, что во мне постепенно поднималась тяжелая, печальная гордость. Я рисовал себе, как буду ходить бес-

словесный, переполненный тайной. Я испытывал горячее сочувствие к старшим; я восхищался ими и решал рассказать о своем восхищении. Я решал все сказать mademoiselle при первой возможности.

Но тут началась одна из болезней, призванных мне доказать, что и раньше были у меня собственные переживания. Горячка рылась во мне и выкапывала из глубин образы, дела и события, о каких я не ведал; я лежал, загроможденный собою, и ждал мгновения, когда мне велено будет все это снова в себя затолкать, по очереди, по порядку. Я даже начинал уже, но все разрасталось у меня под руками, противилось, не лезло в меня. Отчаясь, я запихивал в себя все как попало, тесно придавливал, но мне не удавалось закрыться. И тогда я кричал — полуразверстый, — кричал и кричал. И когда я, наконец, выглядывал из себя наружу, оказывалось, что они давно стоят вокруг моей кровати, и мне держат руки, и горит свеча, и на потолке дрожат их огромные тени. И отец приказывал мне объяснить, что со мной. Это был дружеский, мягкий приказ — но приказ. И он сердился, когда я ему не повиновался.

Мамап никогда ночью не приходила — хотя нет, однажды она пришла. Я кричал и кричал, и сбежались mademoiselle, и Сиверсен, экономка, и Георг, наш кучер; все напрасно. И тогда послали карету за родителями, которые были на большом балу, кажется, у кронпринца. И вот я услышал, как въезжает на двор карета, и сразу я затих, я сидел и смотрел на дверь. Потом прошелестело за стеной, мамап вошла в великолепном придворном наряде, которого не замечала, скинула с голых плеч белый мех, подбежала к кровати, подхватила меня на руки. И с еще небывалым изумлением и восторгом я трогал маленькое выхоленное лицо, волосы, холодные камни серег, шелк, спадавший с плеч, от которых пахло цветами. Так мы нежно плакали и целовались, пока не почувствовали, что вошел отец и нам надо расстаться. «У него сильный жар», — я слышал, робко сказала мамап, и отец схватил меня за руку и начал отсчитывать пульс. Он

был в егермейстерском мундире, с чудесной широкой, муарово-голубой лентой ордена Слона. «Что за нелепость была посылать за нами», — кинул он в комнату, не глядя на меня. Они обещали воротиться, если не окажется ничего серьезного. Ничего серьезного и не оказалось. Но на одеяле у себя я обнаружил карнэ тапап и белые камелии, которых прежде не видел, и я положил их себе на веки, заметив, как они прохладны.

Но как бесконечны во время этих болезней были вечера. Заснешь после дурной ночи, а когда проснешься и думаешь, что опять рано, оказывается, что уже вечер, и все вечер, и так вечер — без конца. И лежишь в убранной постели, чуть-чуть, кажется, растешь, но такая слабость, что ничего и вообразить толком не можешь. Долго удерживается во рту вкус яблочного мусса, и хорошо еще, если, восстанавливая его чистую кислоту, удастся сосредоточиться на ней вместо мыслей. Потом, когда немного оправишься, тебе взбивают подушки, и, сидя, ты берешься за оловянных солдатиков; но как же легко валятся они на покосившийся поднос; и всей шеренгою сразу; и не хватает духу все начинать сызнова. И тотчас они приедаются, и просишь поскорей их убрать, и уже приятно снова видеть только две свои руки на пустом одеяле.

Когда тапап, бывало, заглядывала на часок почитать (для вящей, долгой читки отряжали Сиверсен) — делалось это вовсе не сказок ради. Мы оба сходились на том, что сказок не любим. Мы иначе понимали чудесное. Самым чудесным мы находили то, что происходит в действительности. Мы ставили ни во что ковры-самолеты, нас не завораживало могущество фей, а в волшебных превращениях виделись нам весьма поверхностные вариации. Но мы читали немножко, чтобы показать, как мы заняты чтением; неприятно было оправдываться, если кто-то входил. Особенно перед отцом рассыпались мы в подробнейших объяснениях.

Лишь когда мы твердо знали, что нас не потревожат, когда на дворе сгущались сумерки, предавались мы воспомин-

нениям, общим воспоминаниям, казавшимся нам давними и вызывавшими наши улыбки; ведь оба мы выросли с тех пор. Мы вспоминали о времени, когда тапап хотелось, чтобы я был девочкой, а не тем мальчиком, которым все-таки стал. Каким-то образом я об этом проведал и взял себе за обычай по вечерам стучаться в дверь тапап. И когда она спрашивала, кто там, я с восторгом отзывался: «Софи», истончая свой голос до того, что от него першило в горле. И когда я входил (в почти девчоночьем домашнем платице с вечно засученными рукавами), я уже был Софи, домовитая мамочкина Софи, которой тапап заплетала косичку, чтобы не спутать ее с гадким Мальте, если тот ненароком нагрянет. Это было совсем нежелательно, тапап и Софи равно наслаждались его отсутствием, и беседы их (которые Софи вела неизменно пронзительным голоском) в основном сводились к нападкам и жалобам на него. «Ах уж этот Мальте», — вздыхала тапап. А Софи подозрительно много могла поведать о проказах мальчишек. «Хотела бы я знать, что случилось с Софи», — замечала вдруг тапап посреди воспоминаний. Мальте мало что мог ей сообщить. Но когда тапап предполагала, что, верно, Софи умерла, Мальте отчаянно спорил, молил ее этому не верить, хотя не мог представить решительно никаких доказательств.

Теперь, вспоминая, я дивлюсь одному — как из мира своих болезней я неизменно возвращался к обычной жизни, где каждый ищет опоры в привычном и благо-разумно доверяется общепринятому. Если чего-то ждешь, оно случится или оно не случится — третьего не дано. Были вещи печальные, печальные раз и навсегда, и вещи приятные, и была бездна безразличных вещей. Если тебе готовили радость, это была радость, и так и следовало ее принимать. Все было, в сущности, очень просто и, стоило только приноровиться, катилось как заведенное. И все умещалось в условных границах: долгие монотонные часы занятий, когда в окно заглядывало лето; прогулки, о которых потом надлежало отчитываться по-французски, гости, кото-

рым тебя показывали, и они находили тебя смешным, когда ты грустил, как потешаются над печальной физиономией некоей птицы, не имеющей иного лица. И, разумеется, дни рожденья, когда к тебе приглашали почти незнакомых детей, робких детей, которых ты сам робел, и грубых, которые тебе расцарапывали лицо, ломали подарки, а потом вдруг все они уезжали, и, вытащенные из ящиков и коробок, игрушки оставались мертвым ворохом на полу. Но, играя по обыкновению в одиночку, удавалось вдруг ускользнуть за рамки обговоренного и, в сущности, безобидного мира и оказаться в совсем иных, непредвиденных обстоятельствах.

Mademoiselle время от времени страдала мигренями, необычайно сильными, и в такие дни меня нелегко было докликаться. Если отцу случалось обо мне справиться — я знаю, в парк посылали кучера, но он меня не находил. Сверху, из гостевой, я видел, как он бегает и зовет меня у начала долгой аллеи. Гостевые располагались одна с другой рядом по фасаду Ульсгора и, так как в ту пору ездили к нам уже редко, почти всегда стояли пустые. Но к ним примыкала еще большая углубленная, обладавшая для меня ни с чем не сравнимой притягательностью. Я не обнаружил посреди нее ничего, кроме старого бюста, изображавшего, кажется, адмирала Юэля*, зато по стенам тянулись глубокие серые стенные шкафы, так что даже окна были вырублены в голом белом пространстве над ними. В дверце одного из шкафов торчал ключ, подходящий и ко всем остальным. Скоро я обследовал все: камергерские мундиры восемнадцатого столетия, холодные от затканного серебра, и к ним нарядные, расшитые камзолы; костюмы ордена Данеброга и Слона, которые я принял сначала за женские платья, так были они торжественно пышны и с таким нежным на ощупь подбоем. И, разделенные подпорками, потупленно висели настоящие робы, как переростки-марионетки, участницы грандиозного действия, столь безнадежно устарелого, что головы их пустили

* Йенс Юэль (1631—1700) — датский адмирал.

на что-то другое. А рядом были еще шкафы, темные, когда их откроешь, темные от глухо застегнутых мундиров, которые, кажется, износились больше прочего и вовсе не желали, чтобы их здесь берегли.

Кто же найдет странным, что я все это извлекал и тащил на свет; что то одно, то другое я прикладывал к себе, набрасывал на плечи; что костюм, который казался мне впору, я торопливо натягивал на себя и, сгорая от любопытства и возбуждения, кидался в соседнюю гостевую, к настенному зеркалу, составленному из отдельных, неравномерно зеленых кусков. Ах, как тянуло поскорей перед ним очутиться, и как это оказывалось восхитительно. Когда что-то выступало из зеленого сумрака медленней, чем ты сам, ибо зеркало словно не верило, что к нему обратились, и не торопилось ответить спросонья. Но в конце концов ему приходилось ответить. И вот является нечто — чуждое, небывалое, противное всем догадкам, внезапное, самостоятельное, и, быстро его оглядев, тотчас ты узнаешь себя, с некоторой даже иронией, чуть не портящей все удовольствие. Но сразу же начинаешь говорить, кивать, кланяться, отходишь, непрестанно озираясь, вновь приближаешься с трепетом и решимостью и вновь прищпориваешь фантазию, пока тебе это не надоест.

Тогда-то узнал я, какую власть имеет над нами костюм. Едва я облачался в один из этих нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в зависимость; что он мне диктует движения, мины и даже прихоти; рука, на которую все опадал кружевной манжет, уже не была всегдашней моей рукою; она двигалась как актер и даже сама собой любовалась, каким это ни звучало бы преувеличением. Игра моя, однако, никогда не уводила так далеко, чтобы я на самого себя смотрел отчужденно; напротив, чем больше разнообразились мои превращения, тем больше я в себе утверждался. Я становился все более дерзким, все более заносился, упиваясь собственной изобретательностью. Я не подозревал об искушении, прятавшемся за этой возраставшей самонадеянностью. Рок подстерег меня,

когда вдруг поддался последний шкаф, который я считал неприступным, когда вместо определенных костюмов мне открылись груды маскарадных одежд и сердце у меня зашлось от множества таившихся в них возможностей. Чего там только не было — не перечить. Кроме *bautta**, которая хорошо мне запомнилась, были разноцветные домино, женские платья, звонко обшитые монетами, костюмы Пьеро, казавшиеся мне дурацкими, и пышные турецкие шальвары, и персидские фески, из которых выскальзывали мешочки с камфарой, и диадемы с глупыми, невыразительными камнями. Все это я чуть-чуть презирал, так было все это жалко-фальшиво, болталось так сиротливо, потерянно и так безвольно обвисало, вытасченное на свет. Но хмелем ударяли мне в голову просторные мантии, накидки, покрывала и шали — все эти широкие неупотребимые ткани, то податливые, нежные, вкрадчивые, то гладко ускользающие из рук, то витающие, как ветерок, то тяжело опадающие под собственным весом. Они-то впервые открыли мне неограниченный выбор: быть ли предназначенной на продажу рабыней или Жанной д'Арк, старым ли королем или волшебником; все это было совершенно осуществимо, благо тут же оказались и маски, большие грозные либо изумленные лица с настоящими бородами и насупленными или вскинутыми бровями. Я никогда прежде не видел масок, но тотчас понял их назначение. Я невольно засмеялся, когда мне пришло на ум, что один наш пес ведет себя так, будто выступает в маске. Я представил себе его преданные глаза, поглядывающие будто из прорезей в волосатой морде. Я все посмеивался, наряжаясь, и даже забыл, кого, собственно, вознамерился изображать. Но было ново и соблазнительно принять решение, стоя у зеркала. Лицо, которое я надел, странно пахло пустотой; оно пришлось плотно по моему, но смотреть было удобно, и, уже в маске, я стал подбирать шарфы и повязывать на голове тюрбаном таким образом, чтобы края маски, снизу исчезающие в огромной мантии, оказались скрыты и сверху и с боков.

* Старинный венецианский маскарадный костюм (*итал.*).

Наконец, истощив свою изобретательность, я решил, что достаточно замаскировался. Схватил большую палку, отвел наотлет руку и так, не без труда, но, как казалось мне, полный достоинства, прошествовал в гостевую, к зеркалу.

Это оказалось поистине великолепно, превыше всех ожиданий. Зеркалу ничего не оставалось, как тотчас ответить. Мне не пришлось особенно двигаться; явление в зеркале было совершенно, даже ничего не предпринимая. Но хотелось выяснить, кто же я такой, и, немного помешкав, я воздел наконец обе руки — широким, как ворожающим жестом, который, я тотчас увидел, был единственно верным. Но в самый этот торжественный миг совсем рядом с собой я услышал приглушенный моим маскарадом сложный составной шум; перепуганный, я отвернулся от зеркального образа и, к великому своему огорчению, обнаружил, что я опрокинул круглый столик, уставленный бог знает чем, но чем-то, видимо, очень хрупким. Я согнулся как только мог, и худшие мои опасения подтвердились: все расколосось вдребезги. Оба нелепых зелено-лиловых попугая, конечно, разбились, на разный, но равно неудачный манер. Бомбоньерка, из которой шелковистыми коконами повысыпались конфеты, далеко выбросила крышку, и видна была только одна ее половина, другая запропастилась неизвестно куда. Но всего хуже был разлетевшийся на мелкие осколки флакон, из которого выплеснулись остатки старой эссенции, мерзким пятном расплывшиеся на безупречном паркете. Я поскорей потер его чем-то, что свисало с меня, но пятно делалось только еще черней и противней. Я был в отчаянии. Распрявившись, я поискал глазами какой-нибудь тряпки, чтобы исправить беду. Но ничего не находил. К тому же и взгляд, и каждое движение мое были так стеснены, что я клял глупое свое положение, которого уже не понимал. Я дергал все на себе и только теснее затягивал. Завязки мантии душили меня, шарфы на голове все больше давили. Воздух в комнате помутился, будто запотев от испарений застоявшейся жидкости.

Разъяренный, я кинулся к зеркалу, чтобы как-то следить

из-под маски за работой собственных рук. Но оно того только и дожидалось. Для него настал час отмщенья. Покуда я все более неловко пытался избавиться от своего маскарада, оно, уж не знаю как, приковало мой взгляд и навязало мне образ, нет, реальность, чужую, немыслимую реальность, против воли ужаснувшую меня, ибо оно взяло надо мной верх, и теперь уже — я был зеркалом. Я смотрел на огромного жуткого незнакомца, и мне невыносимо показалось оставаться с ним один на один. И не успел я это подумать, случилось самое страшное: я совершенно перестал себя сознавать, я просто исчез. На миг я испытал тянущую, горькую, напрасную тоску по себе, потом остался только он — кроме него, ничего не было.

Я побежал от него прочь, но теперь это он бежал. Он на все натыкался, он не знал нашего дома, не знал, куда броситься. Он попал на лестницу, налетел на кого-то, кто с криком от него отпрянул. Распахнулась дверь, выбежали еще люди. Ах, какое счастье было узнать их! Это была Сиверсен, добрая Сиверсен, и горничная, и лакей из буфетной; теперь все улаживалось. Но они не бросились ко мне на выручку. Их жестокость не имела пределов. Они стояли и хохотали. Господи — они еще могли хохотать! Я плакал, но маска не пропускала слез, они катились по щекам и тотчас высыхали, катились и высыхали. И я упал перед ними на колени, как никогда еще не падал на колени ни один человек; я упал на колени, я тянул к ним руки, я молил: «Вызволите меня, если еще можно, спасите меня!» Но они меня не слышали; голос мне изменил.

Сиверсен потом до самой смерти любила рассказывать, как я упал, а они смеялись, думали, что это так надо, с меня ведь все станется, уж попривыкли. А я лежал и лежал и не отвечал ничего. И ужас, ужас, когда они сообразили, что я упал без памяти, и я лежал как куль тряпья, прямо как куль.

Дни мелькали с безотчетной быстротой, и вот уже снова наставал срок принимать пастора доктора Есперсена. Устраивались завтраки, невыносимо скучные для всех участников. Привыкшему к робевшей его набожной пастве пастору приходилось у нас туго. Он, так сказать, задыхался, как рыба, вытщенная из воды. Дыхание жабрами, к которому он приноровился, часто прерывалось, он пускал пузыри и то и дело захлебывался. Беседу, честно говоря, попросту нечем было заполнить; шли в ход остатки; подбирались оскребыши. В нашем доме пастору Есперсену следовало довольствоваться ролью частного лица, но к ней-то он решительно не был привычен. Он, по его понятиям, состоял по ведомству душ. Душа была учреждением, которое он представлял, и о должностных обязанностях он не забывал даже в отношениях с женою, «скромной, верной Ребеккой, благословенной во чадородии», как выразился некогда Лафатер* по другому поводу.

(Впрочем, что до моего отца, отношения его к Богу были вполне корректны и безупречно вежливы. В церкви мне казалось не раз, что он егермейстером у самого Господа Бога, когда, стоя на молитве, он склонял голову. Матап, напротив, вежливость по отношению к Богу считала почти оскорбительной. Исповедуй она религию с отчетливым и подробным обрядом, она бы простаивала на коленях часами, простиралась бы ниц, осеняла бы себя широким крестом по плечам и груди. Она толком не выучила меня молитвам, зато радовалась, когда я готовно падал на колени и то стискивал, то плоско складывал пальцы, как казалось мне, для вящей доходчивости. Почти предоставленный себе самому, я рано прошел через ряд стадий, которые лишь много позже, в пору отчаяния, я соотнес с Богом, и притом так рьяно, что Бог мне открылся и рухнул чуть не одновременно. Пришлось, разумеется, все начинать сызнова. Тогда-то нередко испытывал я нужду в поддержке матап, хоть правильной, разумеется, было

* Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — швейцарский писатель и теолог.

этот период одолеть одному. Да она уж и давно умерла тогда.)*

Мапап обращалась с доктором Есперсеном порой без всякой почтительности. Затевала разговор, который он принимал всерьез, и покуда он вслушивался в свои объяснения, теряла к нему интерес; начисто о нем забывала, будто его и нет в комнате. «И как может он,— нередко говорила она,— наведываться к людям, когда они умирают!»

Он и к ней наведалься по этому поводу; только она, конечно, его не увидела. Чувства изменяли ей одно за другим, и первым ушло зрение. Была осень, уже собирались в город; и тут она слегла, верней, сразу стала умирать, медленно, безутешно отмирать по всей поверхности тела. Ездили доктора, однажды съехалось их много, они заполнили дом. На несколько часов он словно отошел во владение профессора и его ассистентов, а мы лишились всех прав. Потом, сразу, они махнули на нас рукой, ездили уже по одному, как бы из вежливости, пропустить стаканчик портвейна, выкурить сигару. Мапап между тем умирала.

Ждали только единственного брата шапап, графа Кристиана Брае, который, надо напомнить, долго был в турецкой службе и, говорили, весьма там отличился. Он приехал в сопровождении иностранца лакея, и меня поразило, что он ростом выше и, кажется, старше отца. Они обменялись несколькими фразами, которые, как я понял, касались шапап. Потом была пауза. Потом отец сказал: «Она ужасно изменилась». Я не понял тогда его слов, но содрогнулся, их услышав. Мне показалось, что и отцу они дались с трудом. Но быть может, всего более страдала его гордость.

Лишь несколько лет спустя услышал я вновь о графе Кристиане Брае. Было это в Урнеклостере. Матильда Брае любила о нем поговорить. Я уверен, однако, что часть эпизодов она толковала достаточно вольно. Жизнь дяди, обще-

* Написано на полях рукописи (*примечание Рильке.*).

ству и даже нашей семье известная только по слухам, которых он не удосуживался опровергать, оставляла широкое поле для домыслов. Теперь Урнеклостер отошел к нему. Но живет ли он там — никто не знает. Быть может, он все еще путешествует, верный привычке; быть может, спешит к нам с дальнего края света весть о его кончине, написанная иностранцем лакеем на скверном английском, а то на неведомом языке; или человек этот, оставшись один, не подает нам знака; а быть может, обоих давно уже нет и они значатся в списке пассажиров затонувшего судна под вымышленными именами.

Разумеется, когда в парк Урнеклостера въезжала карета, я вечно ждал, что сейчас увижу его, и у меня странно падало сердце. Матильда Брае уверяла: вот так он и является, ни с того ни с сего, когда его вовсе не ждут. Он, однако, не явился, но неделями он занимал мое воображение, я чувствовал, что нам бы надо сойтись, и мечтал узнать, каков он на самом деле.

Когда же меня вскоре потом, вследствие известных причин, целиком полонила Кристина Брае, я странным образом вовсе не интересовался обстоятельствами ее жизни. Зато меня занимала мысль о том, висит ли ее портрет в галерее. И желание это выяснить так меня мучило, что я потерял сон и в одну прекрасную ночь (Боже ты мой!) вдруг вскочил с постели и пошел наверх с дрожавшей от страха свечой.

Сам я о страхе не думал. Я вообще ни о чем не думал. Я шел. Тяжелые двери почти играючи мне поддавались, комнаты, которыми я проходил, затаились в тиши. Наконец на меня дохнуло глубиной, и я понял, что я в галерее. По правую руку я чувствовал окна, полные ночью, значит, по левую были портреты. Я повыше поднял свечу. Да, там были портреты.

Сначала я решил разглядывать только женщин, но я узнавал одного за другим по портретам в Ульсгоре, и, озаренные снизу, они волновались, им хотелось на свет, и мне показалось жестоко им в этом отказывать. Снова и снова

был тут Христиан IV* с красиво заплетенными косичками вдоль широких, медленно округленных щек. Были, кажется, его жены, из которых я узнал только Кристину Мунк; вдруг остро глянула на меня фру Элен Марсвин во вдовьем уборе с неизменной снизкой жемчуга на высокой шляпе. Были тут дети короля Христиана, все новее от новых жен, была «несравненная» Элеонор на белом скакуне, в самом зените своем, перед самой казнью. Гильденлевы: Ханс-Ульрик, которого жены Испании подозревали в том, что он румянится, столь полнокровен он был, и Ульрик-Христиан, которого, однажды увидев, невозможно было забыть. И все почти Улфелды. А этот, с одним глазом, замазанным черной краской, был, наверное, Хенрик Холк, к тридцати трем годам ставший фельдмаршалом и рейхсграфом, и вот почему: на пути к йомфру Хиллебор Крафсе привиделся ему сон, что вместо невесты ему сужден обнаженный меч; и он доверился сну и повернул коня, к своей дерзкой и краткой судьбе, окончившейся чумою. Их всех я знал. Были у нас в Ульсгоре и посланцы на Нимвегенский конгресс**, писанные одновременно, все несколько на одно лицо, с куцыми усиками-бровками над чувственными, как бы зоркими ртами. Немудрено, что я сразу узнал герцога Ульриха, и Отто Брае, и Клауса Даа, и Стена Розенспарре, последнего в роду; их я видел на портретах в столовой Ульсгора или в старых папках с гравюрами.

Но были тут и такие, кого я прежде не видел. Были женщины, но больше детей. У меня давно затекла и дрожала рука, но я все тянул свечу кверху, чтоб разглядеть детей. Я вылавливал из темноты этих девочек, которые держали птиц на руках, совершенно о них забывая; у ног иногда сидела собачка, валялся на полу мячик, лежали на столике рядом фрукты, цветы; а сзади, с колонны, ненавязчивый, неприметный, смотрел герб Билле, Розенкранцев,

* Христиан IV (1577—1648) — датский король.

** Нимвегенские мирные переговоры 1678—1679 гг., положившие конец так называемой Голландской войне (1672—1678).

Груббе. Столько всего громоздилось вокруг, словно многое хотелось загладить. Сами же они просто стояли в своих одеждах и ждали. Видно было, что они — ждут. И опять я подумал о женщинах, о Кристине Брае, о том, сумею ли я ее узнать.

Мне захотелось поскорее пробежать в конец галереи и оттуда пройти, разыскивая ее, но почти сразу я на что-то наткнулся. Я обернулся так резко, что маленький Эрик отскочил, прошептал:

— Осторожней ты, со свечой.

— Ты тут? — пролепетал я, задохнувшись, не в силах определить, хорошо это или скверно. Он только смеялся, я не знал, что теперь будет. Свеча дрожала, я не мог понять, какое у него выражение лица. Скорее скверно было, что он тут. Но он прошептал, приблизясь:

— Ее портрета здесь нет, мы сами ищем наверху.

Тихий голос и единственный подвижный глаз устремлялись куда-то кверху. Я понял, что он понимает чердак. И странная мысль пришла мне в голову.

— Мы? — спросил я. — Значит, она наверху?

— Да, — отвечал он и встал совсем рядом.

— И тоже ищет?

— Да, мы ищем.

— Портрет, значит, убрали?

— Да, вообрази, — отвечал он возмущенно.

Но я не мог понять, зачем ей портрет.

— Она хочет увидеть себя, — шепнул он мне в самое ухо.

— А-а... — Я прикинулся, будто понял. И тут он задул свечу. Я видел только, как, высоко вздернув брови, он тянется к свету. И сразу стало темно. Я отпрянул. — Ты что делаешь? — крикнул я, и в горле у меня пересохло. Он бросился на меня, повис на моей руке, захихикал. — Чего тебе? — хрипло выдавил я и постарался его стряхнуть, но он не отставал. Он обвил руками мне шею, я ничего не мог поделать.

— Сказать? — прошипел он сквозь зубы и брызнул слюной мне в ухо.

— Да, да, скажи скорей.

Я сам не знал, что говорю. Он уже обнимал меня, поднявшись на цыпочки.

— Я ей приносил зеркало,— хихикнул он.

— Зеркало?

— Да, ведь портрета-то нет.

— Нет, нет,— отозвался я.

Вдруг он потащил меня к окну и так сжал мне плечо, что я чуть не крикнул.

— Но ее там нет,—дохнул он мне в ухо.

Я невольно толкнул его, что-то щелкнуло в нем, будто я его сломал.

— Да ну тебя! — Меня самого уже разбирал хохот.— Ее там нет? То есть как это — нет?

— Дурак ты,— сказал он зло. Он перестал шептать и словно перевел голос на новый, еще не испробованный регистр.— Ты или там,— чеканил он мудро и строго,— и тогда здесь тебя нет, или ты здесь, но тогда ты не можешь быть там.

— Конечно,— подхватил я быстро, не раздумывая. Я боялся, что иначе он уйдет и оставит меня одного. Я даже протянул к нему руку.— Давай дружить? — предложил я. Он заставил себя просить.

— Мне все равно,— кинул он небрежно.

Я хотел скрепить нашу дружбу, но обнять его не решился.

— Милый Эрик,— только и сумел я выговорить и легонько дотронулся до него. Вдруг я бесконечно устал. Я озирался; я уже не понимал, как я решился сюда прийти, как не боялся. Я уже не разбирал, где окна, где портреты. Ему пришлось вести меня обратно.

— Да ничего они тебе не сделают,— великодушно заверил он и опять захихикал.

Милый, милый Эрик; быть может, ты был моим единственным другом. У меня и нет ведь друзей. Жаль, что ты ни во что не ставил дружбу. Я так много хотел тебе

рассказать. Мы бы, наверное, ладили. Кто знает? Помню, тогда писали с тебя портрет. Дед кого-то вызвал писать тебя. Каждое утро по часу. Не помню, каков был художник на вид, даже имя забыл, хоть Матильда Брае то и дело его повторяла.

Видел ли он тебя так, как я тебя вижу? Ты в бархатном костюмчике цвета гелиотропа. Матильда Брае была от него без ума. Но дело не в том. Видел ли он тебя, вот что хотел бы я знать. Предположим, что он был настоящий художник. И не думал, что ты вдруг умрешь, когда еще он не кончит портрета; и был чужд сентиментальных соображений, просто работал. И его завораживала неодинаковость твоих карих глаз; и застывший твой глаз нимало его не смущал; и у него достало такта ничем не загромождать столик рядом с твоей рукой, слегка на него опиравшейся. Все это предположив, мы должны заключить: в Урнеклостере висит твой портрет, последний портрет в галерее.

(И когда уходишь оттуда, их всех оглядев, остается еще один мальчик. Минутку — кто это? Он из рода Брае. Видишь серебряный щиток на черном поле, павлиньи перья? Даже имя есть. Эрик Брае. Эрик Брае — ведь он был казнен? Разумеется. Слишком известно. Но это, конечно, не тот. Этот мальчик умер в детстве, неважно когда. Неужто не видишь?)

Когда приезжали гости и к ним звали Эрика, Матильда Брае всякий раз уверяла, что он просто вылитая старая графиня Брае, моя бабка. Это была, кажется, очень важная дама. Я ее не застал. Зато как сейчас помню мать моего отца, подлинную хозяйку Ульсгора. Она оставалась хозяйкой, как ни злилась она на татап, вошедшую в дом женой егермейстера. С той поры она вечно делала вид, будто отдалилась от дел, и посылала к татап слуг за любым пустяком, все серьезные вопросы, однако, решая сама, ни у кого не спросясь совета. Матап, я думаю, только того и надо было. Она мало годилась для управления большим

хозяйством; она решительно не умела отличить важное от неважного. О чем бы ей ни говорили, ее целиком занимал этот предмет, и об остальном она забывала. Она никогда не жаловалась на свекровь. Да и кому бы она пожаловалась? Отец мой был почтительнейший сын, дед мало что значил.

Фру Маргарета Бригге всегда, сколько я ее помню, была высокой неприступной старухой. Мне все кажется, что она была много старше камергера. Она жила среди нас своей, обособленной жизнью, никого не беря в расчет. Она ни в ком из нас не нуждалась и всегда держала при себе на ролях компаньонки, что ли, стареющую графиню Оксе, которую по гроб привязала к себе каким-то благодеянием. Это было, конечно, исключение из правила, благодеяния были не по ее части. Она не любила детей, собаки ее сторонились. Не знаю, любила ли она хоть что-то на свете. Рассказывали, будто совсем юной девушкой она была просватана за прекрасного Феликса Лихновского, который потом нашел во Франкфурте свой страшный конец*. И в самом деле, после ее смерти нашли у нее портрет князя и, если я не путаю, возвратили родне. Я теперь думаю, что за углублявшимся год от года уединеньем Ульсгора она упустила жизнь иную, блистательную — истинно свою жизнь. Трудно сказать, жалела ли она о ней. Быть может, она презирала ее за то, что не выпала ей, что потеряла возможность быть прожитой с умением и талантом. Все это она глубоко в себе прятала под многослойной оболочкой, твердой, ломкой оболочкой, посверкивающей металлом и в верхнем слое вечно неожиданной и холодной. Время от времени она, правда, выдавала себя, с наивным нетерпением требуя внимания к своей особе. При мне ей не раз случалось подавиться за столом, и таким подчеркнuto сложным способом, который обеспечивал ей общее участие и хоть на миг позволял стать особенной и необычайной, какой могла бы она быть всегда. Боюсь, однако, что мой

* Князь Феликс Лихновский (1814—1848), депутат франкфуртского национального собрания, убит во время сентябрьского восстания 1848 г.

отец единственный принимал всерьез слишком частые ее неприятности. Он смотрел на нее, почтительно подавшись вперед, и видно было по его лицу, что он готов представить свое исправнейшее дыхательное горло всецело к ее услугам. Камергер, разумеется, тоже переставал есть; он потягивал вино и удерживался от высказываний.

Лишь однажды он во время трапезы постоял за себя перед супругой. Было это давно; но долго потом по секрету злорадно передавали эту историю; всегда находился кто-то, кто еще не слышал ее. Оказывается, в свое время камергерша приходила в неистовство, если кто-нибудь по неловкости проливал вино на скатерть. Каждое пятно, какими бы обстоятельствами ни вызванное, она замечала и подвергала, так сказать, суровому осуждению. И вот как-то раз такое случилось при многих важных гостях. Несколько безобидных пятен стали предметом ее жестоких нападков; и как ни старался дед ее унять незаметными кивками и шутками, она все громоздила упреки, которые, однако, вдруг пришлось ей оборвать на полуслове. Ибо произошло никогда не бывалое и непостижимое. Камергер велел подать ему бутылку вина, которым как раз обносили, и сам с большим тщанием стал наполнять свой бокал. Только, удивительным образом, он не перестал лить вино, когда бокал наполнился до краев, но в набухавшей тишине продолжал лить, медленно, осторожно, до тех пор, пока татап, не умевшая сдерживаться, вдруг не прыснула и своим смехом не обратила все в шутку. Вокруг облегченно расхохотались, камергер поднял глаза и отдал бутылку лакею.

Позже еще одна странность овладела моей бабкой. Она не выносила, чтобы кто-нибудь в доме болел. Однажды, когда кухарка поранила руку и бабка случайно увидела ее в бинтах, она уверяла, будто весь дом провонял йодоформом, и больших трудов стоило уговорить ее не рассчитывать бедную женщину. Она не желала, чтобы ей напоминали о болезнях. Если кто-то по неосторожности обнаруживал при ней признаки легкого недомогания, она

считала это личным оскорблением и долго не прощала.

Той осенью, когда умирала тапан, камергерша затворилась в своих покоях со своей Софи Оксе и прервала с нами всякие сношения. Даже сына она к себе не допускала. В самом деле, эта смерть пришлось ужасно некстати. Комнаты стояли холодные, печи дымили, в доме хозяйничали мыши, от них нигде не было спасу. Но не в том даже дело. Фру Маргарета Бригге возмущалась тем, что умирает тапан; что на очередь поставлен вопрос, который она не желала обсуждать; что молодая женщина решилась опередить ее — собиравшуюся умереть в совсем еще не предустановленный срок. Разумеется, она не забывала о том, что умереть ей придется. Но она не желала, чтобы ее торопили. Она собиралась умереть спокойно, когда захочется, а там бы пусть умирали все подряд, если уж им не терпится умереть.

Она так и не простила нам смерти тапан. Впрочем, в ту же зиму она сразу сдала. Ходила она еще очень прямо, но в кресле горбилась и стала плохо слышать. Можно было часами смотреть ей в лицо — она ничего не чувствовала. Она ушла внутрь, в себя, и лишь изредка и ненадолго возвращалось к ней ее пустое сознание. Тогда она что-то говорила графине, и та оправляла на ней шаль большими свежевывмытыми руками и подбирала юбки, будто на пол пролили воду или мы недостаточно чисты.

Умерла она к весне, в городе, ночью, и Софи Оксе, спавшая за открытой дверью, ничего не услышала. Когда утром к ней вошли, она уже окоченела.

И тотчас начался тяжкий и страшный недуг камергера. Будто он только и дожидался ее конца, чтобы без оглядки предаться собственной смерти.

В тот год после смерти тапан я впервые заметил Абелону. Абелона всегда была тут. От этого она не выигрывала. И Абелона была непривлекательна, я заключил это много раньше, уж не помню почему, и с тех пор ни разу не удосужился пересмотреть приговор. Мне тогда вообще

показалось бы просто смешно задумываться о сущности Абелоны. Абелона была тут, и ею как могли помыкали. Но вдруг я спросил себя: «Отчего Абелона тут?» Каждый из нас тут находился по определенным причинам, пусть и не всегда очевидным, как, например, назначение графини Оксе. Но отчего тут Абелона? Одно время шла речь о том, что ей надо развлечься. Но это забылось. Никто не старался развлечь Абелону. Совсем не казалось, будто она развлекается.

Впрочем, одно достоинство было у Абелоны: она пела. Верней, бывали времена, когда она пела. В ней жил сильный, непогрешающий дух музыки. И если правда, что ангелы — мужского пола, тогда и в ее голосе была мужественность — сверкающая, небесная. Я, уже в детстве музыке не доверявший (не оттого, что она больше прочего возносила меня над самим собой, но оттого, что потом она не возвращала меня на тот уровень, где настигла, но повергала куда ниже, в пучины незрелости), — эту музыку я принимал: по ней взбираешься выше и выше, и тебе уже мнится, что вот-вот откроется небо. Я не подозревал тогда, что Абелоне суждено мне открыть и другие небеса.

Сперва она просто рассказывала мне о девичестве тапап. Ей очень хотелось меня убедить в том, какая тапап была молодая и смелая. В седле и в танцах, уверяла она, тапап не имела равных. «Самая неутомимая, самая храбрая, и вдруг — взяла и вышла замуж, — говорила Абелона, по прошествии стольких лет все еще удивляясь. — Так неожиданно! Никто даже не верил!»

Я полюбопытствовал, отчего не вышла замуж сама Абелона. Она мне казалась уже старой, мне и в голову не приходило, что у нее все могло еще быть впереди.

— Не за кого было, — сказала она просто, и вдруг она стала прекрасна. «Значит, Абелона хороша собой?» — вдруг изумился я. Потом я уехал из дому в Дворянскую академию, и для меня настало постыдное и горькое время. Но там, в Сорё, стоя в нише окна, на время отделившись от однокашников, я смотрел на деревья, и в такие минуты,

а еще по ночам, я укреплялся в уверенности, что Абелона прекрасна. И я стал писать ей письма, длинные, коротенькие, много тайных писем, в которых, казалось мне, я вспоминал об Ульсгоре и жаловался. Но теперь я вижу — это были любовные письма. И вот, протомив ожиданьем, начались наконец-то все не начинавшиеся каникулы, и, словно нарочно уговорившись, мы встретились без посторонних глаз.

Мы ни о чем не уславливались, но когда карета свернула в парк, я не мог удержаться и соскочил, возможно, я просто-напросто не хотел, как чужой, подкатывать к дому в карете... Лето стояло уже в разгаре. Я выбежал боковой тропкой к раkitнику. И там была Абелона. Прекрасная, прекрасная Абелона.

Мне никогда не забыть, как ты на меня взглянула тогда; как ты, будто боясь расплескать, удерживала на запрокинутом лице этот взгляд.

Ах! Неужто не изменился климат? Не потеплело во всем Ульсгоре от нашего жара? И розы в парке — не цветут ли еще и поныне до самого декабря?

Я не стану рассказывать о тебе, Абелона. Не потому, что мы обманули друг друга — ведь и тогда ты любила одного-единственного, кого ты, любящая, не умела забыть, я же — всех женщин сразу; но потому, что не всего можно коснуться словом.

Здесь ковры, Абелона, ковры на стенах. Мне кажется, ты со мной, Абелона, здесь шесть ковров, приди, и мы медленно пройдем мимо них. Но сперва отступи, погляди на все сразу. Какой в них покой, да? Они разнообразятся мало. Всюду этот овальный лазоревый остров, парящий на приглушенном багреце, поросшем цветами, населенном маленькими занятыми собою зверями. Только там, на последнем ковре, остров приподнялся чуть-чуть, будто сделался легче. И всюду она — женщина в разных одеждах, но та же. Кое-где с нею рядом фигура помельче, служанка, и всюду держат щит звери, большие, тоже на острове, тоже

заняты делом. Слева — лев, справа сияет единорог; держат одинаковые стяги, высоко над собою: три серебряных месяца, по лазоревой перевязи восходящие на тихий багрец. Ты разглядела все это? Начнем теперь с первого, да?

Она кормит сокола. Как пышны ее одежды. Сокол, волнуясь, сидит на затянутой в перчатку руке. Покоя на нем взгляд, она меж тем тянется к чаше, которую ей подносит служанка. Снизу справа, на шлейфе у госпожи, сидит шелковистая собачонка и смотрит вверх в надежде, что и ей что-то перепадет. Ты заметила — остров за ними окаймляют шпалеры роз? Звери-щитоносцы застыли геральдически высокомерно. Их окутывает мантия, вторящая щиту. Ее скрепляет прекрасный аграф. Она полощется на ветру.

К следующему ковру мы подходим, невольно притихнув,— ведь правда? — замечая, как сосредоточенна женщина: она сплетает венок, маленькую цветочную корону. Задумчиво выбирает она гвоздику из плоской вазы, которую ей подносит служанка. Внизу на скамье стоит в небрежье корзина, полная роз, к ней уже подбегается обезьяна. На сей раз понадобились гвоздики.

Льву скучно, он отвлекся; но чуюток единорог.

Как же без музыки в такой тишине, разве в ней не таится музыка? В тяжелом и тихом уборе (медленно, медленно, да?) подходит она к переносному органу и вот — играет, трубами отделенная от служанки, раздувающей мехи по другую их сторону. Никогда еще не была она так хороша. Удивительны волосы, перекинутые вперед двумя косами и скрепленные на голове так, что концы смотрят кверху, коротким султаном. Лев скучливо внимает звукам, удерживает зевок. Единорог же прекрасен, он будто качается на их волнах.

Остров ширится. Раскинут шатер. Лазоревое дамаска, подпаленного золотом. Звери распахнули его, и она выступает вперед, почти скромная в царском уборе. Что ее жемчуг в сравнении с нею самой? Служанка раскрыла

ларец, и она вынимает оттуда цепь, тяжелое, пышное сокровище, хранимое под замком. Собачонка сидит рядом, высоко на уготованном месте и наблюдает. Заметила ты девиз по верхнему краю шатра? “A mon seul désir”*.

Что случилось? Почему прыгает вниз маленький кролик? Ведь сразу видно — он прыгает. И такое смятение во всем. Льву уже нечего делать. Она сама держит стяг. Или за него ухватилась? Другой рукой она ухватилась за рог единорога. Это горе? Но бывает ли горе так гордо, а траур так тих, как черно-зеленый тот бархат в увядающих складках?

И вот снова праздник, но никто не зван. Никого не ждут. Все — здесь. Все — навеки. Лев озирается почти грозно: никто не посмеет прийти. Мы еще не видели ее усталой. Неужто она устала? Или просто поникла, оттого что тяжелое что-то держит в руке? Дароносицу, можно подумать. Но вторую руку она тянет к единорогу, и он, польщенный, встает и ласкается к ней. Зеркало — вот что она держит. Смотри — она показывает единорогу его отражение.

Абелона, мне кажется, что ты здесь. Ты поняла, Абелона? Я думаю, ты должна же понять.



Теперь в старом замке Буссак нет уж и гобеленов Дамы с Единорогом. Настало время для этих домов со всем расставаться, они не могут ничего удержать. Опасность стала вернее уверенности. Уж никто из рода Delle Viste** не пройдет с нами рядом, все это нося в крови. Все они в прошлом. Никто уж не поминает тебя, Пьер д'Обюссон***,

* Единственно желанному (*франц.*).

** Гобелены предназначались в качестве свадебного подарка некоему Клоду Ле Висту.

*** Пьер д'Обюссон (1425—1503) — великий магистр ордена поаннитов, владелец замка Буссак, где висели вышеописанные ковры.

величайший из великих магистров, потомок старинного рода, чьей волей и были, наверное, вытканы эти картины, возвеличивающие не изобличая. (И к чему поэтам писать иначе о женщине, как кажется им — точнее? Ясно одно — ничего иного нам знать и не нужно.) И вот являешься сюда человеком с улицы и чуть не пугаешься, что явился незванный. Есть тут, правда, еще кое-кто, хотя народу немного. Юнцы не задерживаются перед гобеленами, им, верно, предписано для каких-то учебных надобностей разок на них взглянуть.

Зато иногда перед ними видишь юных девушек. В музеях много ведь девушек, сбжавших из тех домов, которые не могут ничего удержать. Остановятся перед коврами и забудутся ненадолго. Они всегда догадывались, что существует такая жизнь — тихая жизнь медленных, едва обозначенных жестов; они смутно помнят: когда-то мечталось, что такая жизнь выпадет им на долю. Но вот они вынимают блокнот и принимаются рисовать — что придется, цветок, веселого зверька. Что именно рисовать, объяснили им, не имеет значения. Главное — рисовать. Для того-то они и вырвались силой из дома. Они из хороших семей. Но когда, рисуя, они поднимают руки, видно, что платье сзади не застегнуто, то есть застегнуто не до конца. До некоторых пуговок они не смогли дотянуться. Когда шили платье — кто же знал, что они вдруг возьмут и удерут из дома. Дома всегда кто-нибудь да поможет застегнуть платье. А здесь — Господи! Ну кому какое дело до тебя в таком большом городе? Подруги? Но у подруг у всех та же незадача, вот и кончается обоюдной услугой — друг дружке застегивать платье. А уж это смешно. Это напоминает о доме, а о нем-то и не хочется вспоминать.

Но — ничего не поделаешь — рисуя, они невольно прикидывают, не лучше ли было б остаться. Стать набожной, искренне набожной вместе со всеми. Нет, что за чушь, сообща порываться к вере. Не те времена. Путь стал уже — теперь не приходят семьями к Богу. Кое-какие другие вещи — те, в крайнем случае, еще можно делить.

И то — если делиться по чести — каждому так мало достается, просто беда. А если жульничать — поднимаются распри. Да, лучше уж рисовать, неважно что. Со временем научаешься схватывать сходство. И так вот исподволь обретаемое искусство когда-нибудь пригодится.

Поглощенные занятием, которое сами выдумали, они редко поднимают глаза, эти девушки. И не замечают, как своим рисованьем лишь подавляют в себе неизменную жизнь, в бесконечной невыразимости открывающуюся перед ними в тканых полотнах. Они ей не верят. Все нынче меняется, вот и им хочется перемениться. Они готовы совсем отказаться от себя и уже почти думают о себе так, как о них, верно, говорят мужчины, когда их нет рядом. Так представляется им прогресс. Они убеждены в том, что погоня за удовольствиями, все более рьяная, и есть жизнь, если только глупейшим образом не упускать ее между пальцев. Они уже поглядывают по сторонам, уже ищут — они-то, чья сила всегда была в том, чтоб искали их.

Я думаю — все от усталости. Веками они на себя брали бремя любви; вечно проигрывали весь диалог, обе роли. Мужчины только им подпевали — и скверно. И затрудняли ученье своей невнимательностью, своим небреженьем и ревностью, которая тоже ведь вид небреженья. А они трудились дни и ночи и возрастали в любви и в бедах. И под гнетом бесконечной тоски выходили из них те любящие, которые, призывая мужчину, перерастали его; которые из него вырастали, когда он не возвращался, как Гаспара Стампа* или та португалка**, не отступавшие, покуда мука их не облечется льдистым жестоким величием, которого уже не снести. О многих мы знаем по чудом сохранившимся письмам, по ликованью и сетованью любовных стихов, по портретам, глядящим на нас со

* Венецианская поэтесса (1523—1554), воспевшая свою любовь к графу Каллальтино ди Коллальто.

** Имеется в виду португальская монахиня Марианна Алькофорато (1640—1723). В 1669 г. в Париже появились в печати «Португальские письма», где речь идет о ее несчастной любви. Сейчас установлено, что их автор — виконт Гийерагно. Рильке считал письма подлинными.

стен галерей сквозь скрытые слезы, которых не понял художник и оттого-то сумел передать. Но были еще и еще, другие, они сожгли свои письма или не нашли в себе сил написать их. Старухи, которые ожесточились, пряча тайное сокровище; неловкие, расплывшиеся жены, огрубевшие в невзгодах, постепенно уподобившиеся мужьям, но ничуть на них не похожие там, где совершается любовь, — во тьме. Роженицы, которые не хотели рожать и, умирая восьмьюми родами, были светлы и легки, как девушки в ожиданье любви. И те, кто оставались со своими мучителями, пьяницами, ибо нашли средство от них отдалиться, уйдя — как можно дальше от них — в себя, и так сияли на людях, будто живут со святыми. Кто их перечислит, кто назовет? Они будто отменили загодя все слова, которыми можно их обозначить.

Но теперь, когда все так меняется, не пришло ли время перемениться и нам? Не пора ли развиться немного, постепенно взять на себя свою долю в труде любви? Мы были избавлены от ее печалей, она попадала к нам среди развлечений, как вдруг попадает в детский ящик с игрушками кусок настоящих кружев, забавляет ребенка, перестает забавлять и забывается среди хлама и лома. Развращенные легкими достижениями, как все дилетанты, мы пользуемся репутацией мастеров... Что, если нам плюнуть на наши успехи и приняться с азоз изучать тяжкую работу любви, которую до сих пор за нас исполняли другие? Не зачислиться ли в новички — раз все меняется в наше время?

Только теперь я понимаю, как было, когда татап разматывала кружева. Она пользовалась одним-единственным ящичком в бюро Ингеборг, и там она их хранила.

— Давай посмотрим, Мальте? — говорила она и так радовалась, будто вот сейчас она получит в подарок все содержимое желтолакированного бюро. От нетерпения она не могла развернуть папиросную бумагу. Каждый раз это

приходилось делать мне. Но я и сам страшно волновался, когда обнаруживались кружева. Они были намотаны на деревянную бобину так густо, что ее совсем не было видно за ними. И мы медленно их разматывали и смотрели на разворачивавшийся узор, всегда чуть пугаясь, когда он кончался. Вечно он обрывался так неожиданно.

Сперва шли полосы итальянской работы, густого плетенья, в котором бесконечно все повторялось, отчетливо, как в крестьянском саду. Потом вдруг наш взгляд заграждала венецианская решетка, заточая нас в тюрьму или в монастырь. Но вот мы снова вырывались на волю и далеко заглядывали в глубь садов, а они становились замысловатей и делались наконец густыми и душными, как теплица; пышные чужие растения раскрывали огромные листья, усики цеплялись друг за друга будто в бреду, и большие цветы Алансона все туманили своею пыльцой. Усталые, ошарашенные, мы выходили на долгую Валансьенскую дорогу, и была зима, был утренник, иней. Мы пробирались за снежным кустарником Бинша и выходили туда, где еще ни одна нога не ступала; ветви так странно никли — под ними, конечно, была могила, — но мы это друг от друга скрывали. Все пуще нас пробирал холод, и когда начиналось тончайшее плетение на коклюшках, татап говорила:

— Ну вот, это у нас на глазах — ледяной узор! — и так оно и было от тепла у нас внутри.

Когда надо было снова сматывать кружево, мы оба вздыхали. Но эту долгую работу мы бы не доверили никому.

— Представь, если б нам пришлось их плести! — говорила татап и смотрела на меня с настоящим испугом. Я решительно не мог этого себе представить. Я поймал себя на том, что представляю себе маленьких зверьков, которые без конца плетут и плетут кружево, и потому люди не трогают их. Но нет, это же были женщины...

— Они, конечно, в раю, те, которые их плели? — сказал я с восхищением. Помню, мне тогда же пришло в голову, что я давно не приставал к татап с расспросами насчет рая. Матап глубоко вздохнула. Кружева были смотаны.

Потом уже, когда я успел забыть свой вопрос, она очень медленно проговорила:

— В раю? Я думаю, их душа там и осталась. Ведь посмотришь — это и есть, наверное, вечность. Как мало еще мы знаем.

Часто, когда приезжали гости, шел разговор о том, что Шулины сокращают расходы. Большой старый господский дом несколько лет назад сгорел, и теперь они жили в двух узких боковых пристройках и сокращали расходы. Но привычка к приемам засела в крови. Они не могли с ней расстаться. И если кто-то сваливался на нас незваный, значит, он ехал к Шулиным; если кто-то, глянув на часы, испуганно начинал прощаться — его, без сомненья, ждали в Люстагере.

Матап к тому времени не выезжала, но Шулины не могли взять этого в толк. Ничего не оставалось, как к ним однажды выбраться. Дело было в декабре, уже несколько раз перепадал снег. Сани заложили к трем часам. Меня взяли с собой. Мы, впрочем, никогда вовремя не выезжали. Матап, не любившая, когда объявляли, что экипаж подан, спускалась всегда очень загодя; никого не застав, она вдруг вспоминала про забытое дело, возвращалась наверх, и ее не могли доискаться. Все стояли и ждали. Наконец, уже усевшись в санях, подоткнутая полстью, она спохватывалась, что забыла что-то, отряжала Сиверсен, ибо одна только Сиверсен знала, где это найти. Потом вдруг, не дождав-шись Сиверсен, трогали.

В тот день так и не прояснело. Деревья стояли, будто на ходу увязли в тумане, а мы врубались в него напролом. Потом опять тихо повалил снег, все окончательно стер, и нам остался чистый белый лист пространства. Только позвякивали колокольцы, звук тек невесть откуда. Вдруг, словно захлебнувшись последним треньканьем, они смолкали, но, поднатужась, снова всем скопом на нас изливались. Казалось, слева стоит звонница; но вот вычертился забор, страшно высокий, и мы очутились в длинной аллее. Звя-

канье, уже не обрываясь, словно гроздьями повисало на деревьях справа и слева. Потом мы свернули, во что-то уперлись, что-то обогнули справа и стали.

Георг совсем забыл, что дома уже нет, и для нас для всех он явственно существовал в ту минуту. Мы поднялись по ступенькам старой террасы и подивились полной тьме. Вдруг слева, под нами, распахнулась дверь, кто-то крикнул: «Сюда!» — и взмахнул тусклым фонарем. Отец засмеялся: «А мы тут бродим как привиденья!» — и свел нас вниз по ступенькам.

— Но дом только что был, — говорила татап, не сразу свыкаясь с жаркой, смеющейся Верой Шулин, выбежавшей нам навстречу. Вера тащила нас за собою, и о доме следовало забыть. Мы раскутались в тесной прихожей и сразу вошли в тепло, под блеск ламп.

Эти Шулины были стойкой породой самостоятельных женщин. Не помню, имелись ли в семье сыновья. Помню только трех сестер. Старшая вышла замуж за маркиза в Неаполе и тогда уже постепенно с ним разводилась, претерпевая ряд судебных процессов. Потом была Зое, о которой говорили, что она все на свете знает. И наконец — Вера, эта жаркая Вера. Бог весть, что потом с нею случилось. Графиня-мать, из Нарышкиных, была как бы четвертой сестрой и в каком-то смысле младшей. Она ровно ничего не знала и обо всем справлялась у дочек. Добрейший граф Шулин был, казалось, женат на всех этих женщинах сразу и то и дело их целовал.

Сейчас он громко смеялся и здоровался с нами. Меня подвели к дамам, трепали по щеке, расспрашивали. Я же твердо замыслил, едва это кончится, как-нибудь удрать и поискать дом. Я был уверен, что сегодня он тут. Выбраться из комнаты не составляло труда; я прокрался за юбками, как собачонка, а дверь в прихожую еще стояла приотворенная. Но наружная дверь не поддавалась. Второпях я не мог одолеть сопротивление замков и цепочек. Вдруг дверь уступила, но с грохотом, и не успел я выскочить, меня втянули обратно.



Рильке в 1901 году. Бюст работы жены поэта Клары Рильке-Вестхоф

— Стой. Не уйдешь! — весело кричала Вера Шулин. Она склонялась надо мной, и я решил ни за что не открываться этой хохочущей жаркой особе. Я молчал, и она подумала, что я бросился к двери по естественной нужде. Она схватила меня за руку и, доверительно и высокомерно, уже тащила куда-то. Интимное недоразумение это вконец меня расстроило. Я вырвался и гневно глянул на нее.

— Я хочу посмотреть на дом,— сказал я гордо. Она не понимала.— Большой дом... там, на ступеньках.

— Глупышка,— сказала она, притягивая мою руку.— Дома больше нет.

Я упрямо твердил свое.

— Давай как-нибудь днем туда пойдем,— предложила она примирительно.— Сейчас там не пробраться. Всюду ямы и вдобавок папины рыбные садки, чтоб не замерзали. Еще угодишь туда и рыбой станешь.

И она меня втащила в ярко освещенную комнату. Там все сидели и разговаривали, я переводил глаза с одного на другого. «Ясно, они туда ходят, только когда его нет на месте,— думал я презрительно,— вот жили б тут мы с тапап, уж он бы всегда на месте был». Мапап смотрела рассеянно на всех, занятых разговором. Она, конечно, тоже думала про дом.

Зое уселась рядом и стала мне задавать вопросы. У нее были размеренные черты, время от времени вспыхивавшие острой догадкой, будто она непрестанно постигала что-то. Отец сидел, чуть склоняясь вправо, и слушал смеющуюся маркизу. Граф Шулин стоял между женой и тапап и что-то рассказывал. Вдруг графиня перебила его на полуслове.

— Нет, детка, тебе кажется,— добродушно возразил граф, но у него у самого сразу вытянулось лицо. Графиню, однако, не так-то просто было отвлечь от того, что ей якобы показалось. Лицо у нее сделалось напряженное, как у человека, который боится, что ему вот-вот помешают. Мягкие руки в кольцах от чего-то отмахивались, защищаясь. Кто-то сказал «Тсс!» — и настала мертвая тишина.

Громадные вещи из старого дома грозно на нас надвига-

лись. Тяжелое фамильное серебро блестело и вздувалось, будто под увеличительным стеклом. Отец озирался рассеянно.

— Мама что-то чувствует,— сказала у него за плечом Вера Шулин,— надо затихнуть. Она чувствует ушами.— А сама замерла, подняв брови и сосредоточенно внюхиваясь.

У Шулинов после пожара завелась эта странность. Перегретым тесным комнатам то и дело мерещился какой-то запах, и все принимались его разбирать и оценивать. Зое что-то уверенно и деловито ворошила в печи; граф бродил из угла в угол, останавливался, ждал; потом говорил: «Нет, не здесь». Графиня встала и стояла в нерешимости. Отец медленно повернулся на каблуках, будто запах был у него за спиной. Маркиза, живо убедясь, что запах вредоносный, прижимала к лицу платок и по лицам остальных гадала, улетучился ли он.

— Здесь! Здесь! — иногда вскрикивала Вера. И над каждым возгласом странно смыкалась тишина. Я тоже внюхивался изо всех сил. Но вдруг (из-за жары ли, от множества ли свечей) впервые в жизни меня пробрало что-то сродни страху привидений. Было очевидно, что все эти почтенные взрослые, которые минуту назад беседовали и смеялись, ходят согнувшись, озабоченные чем-то незримым; что все они считают, что в комнате есть что-то, недоступное взгляду. И было ужасно, что это сильнее их всех.

Меня все больше мучил страх. Казалось, то, чего ищут они, выступит вдруг на мне, как сыпь, и на меня станут указывать пальцами. Вконец измучась, я посмотрел через комнату на тапап. Она сидела странно прямая; я решил, что она меня ждет. И только когда я оказался с нею рядом, когда я почувствовал, что ее бьет дрожь, я понял наконец, что дом снова исчезает.

— Мальте, трусишка,— был рядом голос и смех. Голос Веры. Но мы с тапап все прижимались друг к дружке; и сидели рядышком, вместе, пока дом окончательно не исчез.

Всего богаче почти непонятными переживаниями были,

однако, дни рожденья. Ты уже знал, что жизни нравится уравнивать всех, но в этот день просыпался с неоспоримым правом на радость. Вероятно, это ощущение права рождается очень рано, еще на той стадии, когда все схватываешь, постигаешь и с безошибочностью фантазии превращаешь домыслы в факты.

Но вот приходят те странные дни рождения, когда, совершенно убежденный в своем праве, ты вдруг замечаешь в других известную неуверенность. Тебе хочется, чтоб тебя, как раньше, поскорее одели и началось бы все прочее. Но не успел ты глаз открыть, а уж кто-то орет за дверью, что торт еще не доставлен; что-то брякает об пол, пока уставляют столик подарками; кто-то влетает, оставя отворенную дверь, и ты видишь то, что видеть тебе не положено. Над тобой будто произвели операцию. Быструю, страшно болезненную. Но умелой и твердой рукой. Мгновение — и все позади. И вот уже ты не думаешь о себе; надо спасать день рожденья, выручать других, предупреждать их провалы, укреплять их в сознании, что они делают все превосходно. Они тебе не облегчают труда. Оказываются беспримерно неловкими, даже тупыми. Ухитряются являться со свертками, предназначенными кому-то еще; ты разлетаешься им навстречу и тотчас прикидываешься, будто бегал по залу просто так, чтоб размяться. Они тебе готовят сюрприз — с плохо наигранным нетерпеньем долго роются на самом дне ящика, где ничего уже нет, кроме ваты; и тебе остается их утешать. А когда они тебе дарят заводную игрушку, они сразу ломают пружину. Так что лучше загодя потренироваться, незаметно водя ногой по полу сломанную мышку или что-то в этом роде; таким образом часто удается их обмануть и уберечь от конфуза.

Все это ты проделывал в точности как от тебя ожидалось, тут особенных дарований не нужно. Талант требовался тогда, когда, сияя торжественной добротой, тебе несли радость, и ты уже издали видел, что это радость для кого-то другого, совсем-совсем чужая радость; ты даже не знал никого такого, кому бы она годилась, до того была она чужая.

Искусством рассказывать, по-настоящему рассказывать владели, верно, еще до моего времени. Я никогда не слышал ничьих рассказов. Когда Абелона мне говорила про юность патап, оказалось, что рассказывать она не умеет. Кажется, старый граф Брае* еще это умел. Запишу кое-что со слов Абелоны.

Совсем маленькой девочкой Абелона одно время отличалась странной, острой впечатлительностью. Брае жили тогда в городе, на Бредгаде, и часто принимали гостей. Когда вечером она поднималась к себе в комнату, ей казалось, что она устала, как все. Но потом вдруг она чувствовала окно и, если я правильно понял, часами простаивала, глядя в ночь, и думала: это все для меня. «Я стояла как узница,— говорила Абелона,— а звезды были свободой». В ту пору она легко засыпала. Выражение «погрузиться в сон» никак не вяжется с ранними девичьими годами. Сон как-то поднимается с тобою вместе, и, бывает, часами лежишь не смыкая глаз, и вдруг тебя выносит куда-то, далеко еще не на самый верх. А потом встаешь до зари; даже зимой, когда остальные опаздывают, заспанные, к позднему завтраку. Вечерами, когда темно, зажигали, разумеется, только свет для всех, общий свет. Но те две свечи, озарявшие новую тьму, в которой все начиналось сызнова,— те были твои. Они стояли в низеньком раздвоенном подсвечнике и тихо сияли над маленькими, цветочками расписанными розетками, которые приходилось время от времени опускать. Это ничуть не мешало, спешить было некуда, и часто глаза поднимались задумчиво от письма или дневника, начатого не так давно совсем другими, тревожно-красивыми буквами.

Граф Брае жил совершенно обособясь от дочек. Разговоры о том, что надо делить жизнь с другими, он почитал пустой выдумкой. («Да, делить...» — говорил он.) Но он не возражал, когда ему говорили о его дочерях, и слушал внимательно, как если б те жили за тридевять земель.

* Немецкими комментаторами установлено, что прототип этого образа — Карл ландграф Гессенский, который возглавлял в Копенгагене мистико-философское общество и устраивал иногда спиритические сеансы.

Потому-то всех удивило, когда однажды после завтрака он подозвал к себе Абелону:

— У нас, оказывается, одинаковые привычки. Я тоже люблю пописать ни свет ни заря. Ты должна мне помочь.

Абелоне это запомнилось, будто было вчера.

Наутро ее ввели в отцовский кабинет, считавшийся недоступным. У нее не было времени осмотреться, ее тотчас усадили против графа у широкой равнины письменного стола, пересеченной населенными пунктами книжных и бумажных кип.

Граф диктовал. Утверждавшие, будто граф пишет мемуары, не вполне ошибались. Только он вовсе не предавался воспоминаниям о военных делах и политике, которых от него с такой жадностью ждали. «Это я все забываю», — отрезал старик, когда кто-то к нему приступился с расспросами. Но было нечто, чего он не хотел забывать: детство. За него он цеплялся. И ему представлялось естественным, что, победив все прочие времена, то дальнейшее время, стоило заглянуть в душу, всегда лежало там, в свечении летней северной ночи, бессонное и неугомонное.

То и дело он вскакивал и обращался к свечам, повергая их в трепет. Или перечеркивались целые фразы, и он ходил взад-вперед, вскидывая полы блекло-зеленого шелкового шлафрока. При всем этом присутствовало третье лицо, Стен, старый ютландец, графский камердинер, в чьи обязанности входило, когда вскакивал дед, придерживать руками разложенные по столу стопки. Их светлость полагали, что никчемная нынешняя бумага ничего не весит и разлетается, чуть на нее дохнешь. И Стен, разделяя презрение графа, возвышая над столом протяженный торс, сидел как на четвереньках, слепой к дневному свету и торжественный, как сова.

Этот Стен проводил воскресные вечера у себя в комнате за чтением Сведенборга*, и никто из челяди не смел к нему сунуться, ибо считалось, что он вызывает духов. Семейство Стена давно было с духами накоротке, а уж ему самому на

* Эммануил Сведенборг (1688—1772) — шведский теософ и мистик. Свои идеи изложил в сочинении «О небе, аде и жизни духов» (1758).

роду было написано с ними спознаться. Что-то явилось его матушке в ту самую ночь, когда она им разрешилась. У него были круглые, большие глаза, и взгляд всегда упирался в пространство за спиной того, с кем он говорил. Отец Абелона часто у него справлялся о духах, как справляются о здоровье присных.

— Ну, приходили они, Стен? — спрашивал он благодушно. — Хорошо, когда они приходят.

Несколько дней диктовка шла своим чередом. Но вот Абелона запнулась на Эккернаферде*. Это было название, она его никогда не слышала. Граф, который давно искал повода прервать не поспевавшие за его памятью записи, выказал недовольство.

— Она не может, видите ли, написать, — буркнул он. — А другие не смогут прочесть. Да полно — увидят ли они, о чем я толкую? — продолжал он сердито, вонзаясь в Абелону взглядом. — Увидят ли этого Сен-Жермена? Сен-Жермена — сказали мы? Зачеркни! Пиши: маркиз де Бельмар**.

Абелона зачеркивала и писала. Но граф так зачастил, что за ним невозможно было угнаться.

— Он терпеть не мог детей, этот прекрасный Бельмар, но меня он усадил к себе на колени, я был совсем маленький, и мне пришлось в голову укусить его за бриллиантовую пуговицу. Его это развеселило. Он засмеялся, поднял за подбородок мое лицо, и мы смотрели глаза в глаза. «У тебя великолепные зубы, — сказал он, — предприимчивые зубы...» А я разглядывал его глаза. Я много повидал на своем веку. Я много разных глаз видел, поверь мне, но таких — больше никогда. Им ни на что не надо было смотреть; все было в них. Слышала ты о Венеции? Хорошо. Так вот, я тебе говорю, эти глаза видели Венецию в этой комнате, будто она тут, как мой стол. Я однажды сидел в уголке и слушал, как он рассказывает отцу про Персию, — иной раз мне кажется, будто руки мои до сих пор хранят ее запах. Отец очень высоко

* Город в Шлезвиг-Гольштейне, где провел последние годы своей жизни знаменитый авантюрист граф Сен-Жермен (1710—1784).

** Одно из имен Сен-Жермена.

его ставил, а его светлость ландграф был ему чем-то вроде ученика. Но кое-кому, разумеется, не нравилось, что он признает лишь то прошедшее, которое носит в себе. Они не могли взять в толк, что разный хлам идет к делу только тогда, когда ты с ним родился.

Книги — пустое! — бушевал граф, взывая к стенам. — Кровь — вот что важно, по крови надо учиться читать. Чудесные истории, странные картины были у этого Бельмара в крови; он отворял ее, когда хотел, и все было исписано, ни одного пустого листа. И когда он вдруг запирался и листал одиноко страницы, он нападал на пассажи об алхимии, о драгоценных камнях, о красках. Почему бы им там не быть? Где-то им надо же обраться...

Он бы уживался с правдой, этот человек, будь он один. Но не так-то легко оставаться наедине с этой дамой; а у него доставало вкуса не приглашать к себе других, находясь в ее обществе; она не должна была вступать в беседу — такого не допускал его восточный обычай.

«Adieu, madame, — говорил он ей правдиво. — До другого раза. Быть может, как-нибудь, годков через тысячу, мы будем крепче и нам не станут мешать». «Ваша красота, madame, лишь вступает в пору расцвета», — говорил он, и то не была пустая учтивость.

И с тем он уходил и разбивал для людей зоологический сад, нечто вроде Jardin d'Acclimatation*, где цвели разные виды лжи, доселе неслыханной в наших широтах, где зрели в теплицах преувеличенья и в небольших Figuerie** спели фальшивые тайны. И отовсюду стекались к нему гости, а он расхаживал с бриллиантовыми пряжками на туфлях и был всецело к их услугам.

Неосновательное существование, да? А ведь это было рыцарство по отношению к даме, и по милости своих взглядов он великолепно сохранился.

Старик давно уже не обращался к Абелоне, он про нее забыл. Он метался как безумный по кабинету и бросал на Стена

* Парк с увеселительными зрелищами (франц.).

** Оранжерея, где выращивают фиги (франц.).

пронзительные взоры, словно понуждая его превратиться в того, о ком он думал. Стен, однако, ни в кого не превращался.

— Его надо было *видеть*,— сам не свой продолжал граф.— Одно время он был зрим, хоть письма, во многих городах им получаемые, никому не были адресованы — на конверте стоял только город, ничего больше. Но я видел его.

Собою он не был хорош,— граф издал странно-поспешный смешок.— Не был он и то, что называют достойным, значительным; вокруг всегда роились люди более достойные. Он был богат, но богатством случайным, неверным. Он был высок, но не блистал красотой осанки. Разумеется, я не могу сказать, обладал ли он обширным умом, тем-то, тем-то и прочим, чему придаем мы цену,— но он *был*.

Граф встал, весь дрожа, и что-то странно очертил руками в воздухе, будто поместил и утвердил в пространстве.

И тут он заметил Абелону.

— Видела ты его? — спросил он повелительно. И вдруг схватил серебряный канделябр и осветил ей прямо в глаза.

И Абелона вспоминала, что она видела его.

В последующие дни Абелона неизменно призывалась в кабинет, и диктовка продолжалась уже более спокойно.

Граф восстанавливал по всевозможным документам самые ранние свои воспоминания об окружении Бернсторфа, в котором отец его играл не последнюю роль. Абелона так приоровилась к особенностям своей работы, что всякий, увидев вместе эту парочку, принял бы их сотрудничество за подлинную близость.

Однажды, когда Абелона собралась уже уходить, старик к ней приблизился так, будто держал для нее сюрприз в сложенных за спиною руках.

— Завтра мы будем писать о Юлии Ревентлов*,— сказал он, смакуя каждое слово.— Она была святая.

Наверное, Абелона на него глянула с недоверием.

* Графиня Юлия Ревентлов (1763—1816), отличавшаяся красотой, добротой и набожностью.

— Да, да,— настойчиво повторил он.— Это еще бывает. Все бывает, графиня Абель.

Он взял Абелону за руки и распахнул ее, как книгу.

— У нее были стигматы,— сказал он.— Тут и тут.— И быстро, жестко ткнул холодным пальцем в обе ее ладони.

Что такое стигматы, Абелона не знала. Ничего, после разъяснится, думала она. Ей не терпелось услышать про святую, которую отец видел своими глазами. Но ее не призывали ни назавтра, ни в дальнейшем.

— С тех пор у вас часто поминали графиню Ревентлов,— поспешно заключила Абелона, когда я ее упрасивал продолжать. Она выглядела усталой; она уверяла, что все позабыла уже. «Но я до сих пор иногда чувствую эти места»,— сказала она, и она улыбнулась и почти с любопытством заглянула в свои пустые ладони.

Еще до смерти моего отца все переменялось. Ульсгор перешел в чужие руки. Отец умер в городе, в квартире, показавшейся мне враждебной и странной. Я был тогда уже за границей и опоздал.

Гроб стоял в выходящей во двор комнате, меж двумя рядами высоких свечей. Цветочный запах был неразборчив, как наперебой звучащие голоса. Красивое лицо с закрытыми глазами будто что-то вежливо силилось вспомнить. Его облачили в егермейстерский мундир, но из каких-то соображений заменили белой голубую ленту. Руки не были сложены, косо лежали одна поверх другой, казались ненастоящими и лишились выраженья. Мне тотчас рассказали, что он мучился ужасно,— по нему это не было видно. Черты были прибраны, как мебель в гостевой после отъезда гостей. Мне почудилось, что я уже видывал его мертвым,— так все мне было знакомо.

Новой была лишь обстановка, и неприятно новой. Ново было, что то и дело заходила Сиверсен и не делала ничего. Сиверсен постарела. Потом меня звали завтракать. Несколькими раз мне напоминали о завтраке. Завтракать в этот

день мне решительно не хотелось. Я не замечал, что меня выпроваживают из комнаты; наконец Сиверсен дала мне понять, что в доме доктора. Я не мог взять в толк — зачем. «Что-то еще надо сделать», — сказала Сиверсен и настойчиво на меня посмотрела красными глазами. Потом два господина с известной поспешностью вошли в комнату: это были доктора. Первый нагибал, как для боданья, будто снабженную рогами, голову с тем, чтоб разглядеть поверх очков: Сиверсен, затем меня.

Он поклонился со студенческой церемонностью.

— Господин егермейстер выражал еще одно желание, — заговорил он с порога; и опять ощущалось, насколько ему некогда. Я кое-как принудил его направить взгляд сквозь очки. Коллега его был высокий, тонкокожий, светловолосый юнец; я подумал, что его легко вогнать в краску. Затем наступила пауза. Казалось странным, что у егермейстера могли еще быть желания.

Я снова невольно глянул на прекрасный, соразмерный лик. И тотчас я понял, что он хотел уверенности. Он всегда ее жаждал. Теперь настал его срок ее обрести.

— Вы явились для перфорации сердца. Прошу вас.

Я поклонился и отступил. Оба доктора склонились одновременно и тотчас стали совещаться о своей работе. Уже кто-то убрал свечи. Но вот старший сделал по направлению ко мне несколько шажков. Затем, избавляя себя от труда преодолевать все расстояние, он простер руку и злобно меня оглядел.

— Нет необходимости, — сказал он. — То есть, я полагаю, вам лучше бы...

Скупая рассчитанность его движений показалась мне пошлой и неуважительной. Я опять поклонился. Так уж получилось, что я все кланялся.

— Благодарю, — сказал я кратко. — Я мешать не буду.

Я знал, что могу это претерпеть и незачем уклоняться. Так надо. Быть может, так прояснится смысл целого. И я еще не видывал, как кому-то вспарывают грудь. Я счел разумным не пренебрегать удивительным переживанием,

которое мне так естественно выпало. В разочарование я тогда уж не верил; значит, нечего было бояться.

Нет, нет, ничего на свете нельзя заранее вообразить, ни малейшей малости. Все состоит из множества частности, которые предусмотреть невозможно. В предвидении мы их проскакиваем, второпях не замечая их недостатки. Действительность куда медленней и подробней.

Например, кто мог вообразить это сопротивление. Едва обнажилась широкая сильная грудь, спешащий маленький человек нацелился скальпелем на нужное место. Но ловко приставленный инструмент туда не проник. Мне показалось, что время — все сразу — вышло из комнаты. Мы стояли в ней как написанные на полотне. Но вот снова, с легким, скользким шорохом, время накатило на нас, и его стало слишком много. Вдруг что-то стукнуло где-то — никогда я не слышал, чтобы что-то так стучало: душный, сдавленный, сдвоенный стук. Ухо мое передало его мозгу, и тотчас я увидел, что доктор нанес свой удар. И однако же два эти впечатления не сразу соединились во мне. Так-так, с этим, значит, покончено. Стук прозвучал почти издевкой.

Я взглянул на человека, которого, казалось, давно уже знал. Нет, он сохранял совершенную невозмутимость — быстро, четко работающий господин, которому срочно надо мчаться еще куда-то. Ни малейших признаков удовольствия, удовлетворения сделанным. Лишь на левом виске, уступая древнему инстинкту, встало дыбом несколько волосков. Он осторожно извлек инструмент. Открылся как бы рот, выбросив кровь двумя толчками, словно произнеся что-то двусложное. Светловолосый юнец элегантно жестом отер рану ватой. И она успокоилась, как закрытый глаз.

Надо признаться, я опять поклонился, на сей раз почти не помня себя. Во всяком случае, я поразился, обнаружив, что они ушли. Кто-то уже привел в порядок мундир, и, как прежде, пересекала его белая лента. Но теперь егермейстер был мертв — и не он один. Проткнули сердце, наше сердце,

сердце нашего рода. Он угас. И сломан был шлем. «Бригге сегодня — и больше никогда», — отдалось во мне.

О своем сердце я не думал. И, как потом уж пришло мне в голову, я впервые с уверенностью понял, что оно здесь не в счет. Это — отдельное сердце. И оно тогда уже, сразу, начало все сначала.

Я знаю, я сам вообразил, что не могу тотчас уехать. Сперва все нужно уладить, убеждал я себя. Что требовалось уладить, оставалось неясным. Делать было почти нечего. Я бродил по городу и замечал, что он переменялся. Приятно было выходить из гостиницы, где я остановился, и убеждаться, что теперь это город взрослых, почти не признающийся в нашем родстве. Все чуть-чуть уменьшилось, и я бродил по Лангелинии до маяка и обратно. На подступах к Амалиенгаде город вдруг опять пускал в ход свою старую, испытанную власть. Были тут кой-какие угловые оконца, крылечки и фонари, которые чересчур много о тебе знали и тебя шантажировали. Я смотрел им в лицо и давал понять, что остановился в гостинице «Феникс» и в любую минуту могу уехать. Но совесть моя не успокаивалась. Я начал подозревать, что так и не преодолел этих связей. Когда-то я прервал их тайком, незаконченными, на полуслове. Детство тоже надо исполнить до конца, если не хочешь утратить его навеки. И едва я понял, что утратил его, я почувствовал, что мне уже не на что опереться.

Час-другой я ежедневно проводил на Дроннингенс Твергаде, в тесных комнатах, имевших оскорбленный вид всех нанятых помещений, где кто-то умер. Я сновал от письменного стола к белому кафельному камину и жег бумаги егермейстера. Сперва я бросал в огонь целые пачки, но они так плотно были увязаны, что лишь обугливались по краям. С усилием заставил я себя их развязать. Большинство хранило острый, настойчивый запах, проникавший в душу и вызывавший как бы к моим собственным воспоминаниям. Я их не имел. Случалось, из пачки

выскальзывал тяжелый дагерротип; дагерротипы эти неимоверно долго горели. Бог весть отчего, я вдруг вообразил, что найду среди них лицо Ингеборг. Но всякий раз это оказывались величавые, зрелые, ярко красивые женщины, пускавшие мои мысли по совсем иному руслу. Вдруг оказалось, что я не вовсе лишен воспоминаний. Именно в этих глазах я подростком, помнится, видел себя, когда отец взял меня с собой на прогулку. Из окна скользящей мимо кареты они задержались на мне, и я не знал, куда деться. Теперь я понял, они сравнивали, и сравнение было не в мою пользу. Еще бы; егермейстер мог не бояться сравнений.

Зато теперь я, кажется, понял, чего он боялся. Сейчас расскажу, как я пришел к своему заключению. В самой глубине бювара лежал листок, давным-давно сложенный и истертый по сгибам. Я его прочитал, прежде чем сжечь. Он был тщательнейше исписан его твердым, правильным почерком; но тотчас я заметил, что это всего лишь выписка.

«За три часа до смерти», — начинался листок, и речь шла о Христиане IV. Я, разумеется, не запомнил всего дословно. За три часа до смерти он попытался подняться. Доктор и Вормиус, камердинер, помогли ему встать на ноги. Он стоял пошатываясь, но стоял, и они на него накинули стеганый халат. Потом вдруг он опустил на край постели и сказал что-то. Они не поняли. Доктор держал короля за левую руку, чтобы тот не рухнул на постель. Так сидели они, и время от времени король повторял коснеющим языком то, неразборчивое. Наконец доктор сам к нему обратился; он надеялся догадаться, что угодно его величеству. Но король прервал его и вдруг произнес совершенно отчетливо:

— Доктор, доктор, назовите, назовите — как?

Доктор не сразу опомнился:

— Шперлинг*, всемилостивейший государь.

Но уже это было неважно. Едва он убедился, что его поняли, король открыл еще служивший ему правый глаз

* Отто Шперлинг (1602—1681) — лейб-медик при дворе Христиана IV.

и всем лицом сказал то единственное слово, которое часами складывал его язык, единственное уцелевшее слово.

— Døden,— сказал он.— Døden*.

Больше на листке не было ничего. Я перечел его несколько раз, прежде чем сжечь. И вспомнил, что отец перед смертью страдал ужасно. Так мне говорили.

С тех пор я много раздумывал о страхе смерти, опираясь в какой-то мере и на личный опыт. Пожалуй, я могу с уверенностью сказать, что испытал этот страх. Он охватывал меня вдруг, на шумных улицах, среди многолюдства, часто без всяких причин. Но часто оснований было достаточно; например, когда некто отошел на скамейке и все стояли и смотрели, а он был уже недостижим для всякого страха; тогда-то изведаль я его страх. Или в Неаполе, когда в трамвае умерла сидевшая напротив меня девушка. Сначала казалось, что просто она потеряла сознание; мы даже еще немного проехали. Но скоро сделалось ясно, что надо остановиться. Сзади тормозили, скапливались, получился затор, будто никогда уж не будет движения по этой улице. Белая рыхлая девушка мирно умерла бы, склонясь на плечо соседки. Но мать не могла этого допустить. Она всячески ей мешала. Привела в беспорядок ее одежду, что-то совала в уже ничего не принимающий рот. Терла ей виски кем-то предложенной жидкостью, и когда чуть-чуть выкатились глаза, стала ее трясти, чтоб вернуть на место взгляд. Она кричала в эти ничего не слышавшие глаза, она дергала и таскала ее, как куклу, и наконец подняла руку и наотмашь ударила по пухлому лицу, чтоб не умирала. И тут я испугался.

Но я уж и раньше изведаль этот страх. Например, когда умирал мой пес. Тот самый, который меня раз и навсегда обвинял. Он очень страдал. Весь день я простоял на коленях с ним рядом, и вот вдруг он коротко, сдавленно тьякнул, как тьякал, когда в комнату входил чужой. Между нами было условлено, что так он лаял в подобных случаях,

* Смерть, смерть (датск.) (примечание Рильке.).

и невольно я глянул на дверь. Но это было уже в нем. Я тревожно искал его взгляда, он тоже ловил мой взгляд. Не для прощанья. Взгляд его был враждебный и жесткий. Он упрекал меня, что я допустил это войти. Он был уверен, что я мог этому помешать. Он, оказалось, всегда меня переоценивал. И уже не оставалось времени с ним объясниться. Он смотрел на меня отчужденно и одиноко, пока все не кончилось.

Или еще я боялся, когда осенью после первых ночных заморозков в комнату залетали мухи и вновь оживали в тепле. Они были странно иссохшие и пугались собственного жужжания; видно было, что они уже сами себя не помнят. Часами просиживали они не шевелясь, покуда не соображали, что еще живы; и тогда они слепо кидались в разные стороны, не понимая зачем, и слышно было, как они падают там и сям — повсюду. А потом они расползались по комнате и мерли.

Но иногда я пугался и просто когда был один. К чему прикидываться, будто не было этих ночей, когда я садился на постели, охваченный страхом смерти, цепляясь за то соображение, что сидеть — уже значит жить: мертвые не сидят. Такое всегда бывало в случайных комнатах, которые тотчас предавали меня, когда мне делалось плохо, будто боясь запутаться и замешаться в мои злоключения. И сидел я, верно, с таким ужасным лицом, что все чуралось меня. Даже свеча, которой я только что оказал услугу, ее засветив, и та не желала со мною знаться. Она догорала сама по себе, словно в пустой комнате. Последней надеждой моей оставалось окно. Я воображал, что там, за ним, что-то еще мне принадлежит, даже и теперь, в моей смертной обобранности. Но стоило мне туда взглянуть, и я тотчас желал, чтобы окно стало глухо, как стена. Ибо я видел, что снаружи все идет безучастно, по-прежнему, что и снаружи ничего нет, кроме моего одиночества. Одиночества, которое я на себя накликал, огромного одиночества, уже не охватного моим сердцем. Я вспоминал лю-

дей, которых когда-то покинул, и не понимал, как мог я бросать людей.

Господи. Господи, если подобные ночи мне еще суждены, оставь мне хоть одну из тех мыслей, которые тогда меня посещали! Не о нелепости прошу, ведь я знаю, что их породил мой страх, именно оттого что мой страх был огромен. Когда я был мальчиком, они меня били по лицу, обзывали трусом. Потому что я еще не умел бояться. С тех пор я научился подлинному страху, который растет, когда растет порождающая его сила. Нам не дано понять эту силу иначе, как через страх. Она так непостижима, так нам чужда и враждебна, что мозг раскалывается в напрасных усилиях ее понять. И все же с некоторых пор я думаю, что это наша сила, она в нас, но она чересчур для нас велика. Да, правда, — мы ее не знаем; но не самое ли сокровенное наше знаем мы всего меньше? Иной раз я думаю о том, откуда взялось небо и смерть. Вечно нам было некогда, недосуг, и в спешке и занятости мы погубили самое драгоценное. Время упущено, мы свыклись с вещами менее ценными. Мы уже не узнаем своего достоинства и пугаемся его огромности. Разве не так?

И однако, я вполне понимаю, как можно много лет таскать с собою в бумажнике описание смертного часа. Пусть не самого удивительного; каждый ведь, в сущности, редкостен. К примеру, отчего бы не вообразить, что кто-то переписал рассказ о смерти Феликса Арвера*? Он умер в больнице. Он мирно, спокойно отходил, и сиделке, вероятно, показалось, что он зашел дальше, чем то было на деле. Очень громко она распорядилась насчет того, где то-то и то-то найти. Она была темная, необразованная монахиня и никогда не видела написанным слова «коридор», без которого в ту минуту не могла обойтись; и потому она выговорила «колидор», полагая, что так произносить и следует. И тут Арвер прервал умирание. Ему показалось необходимым

* Алексис Феликс Арвер (1806—1850) — французский поэт. История его смерти — распространенный анекдот.

сперва ее поправить. Совершенно очнувшись, он ей объяснил, что следует произносить «коридор». И затем он умер. Он был поэт и терпеть не мог приблизительностей; или просто он ратовал за истину; или ему не хотелось уносить в могилу впечатление о неряшливости оставляемого мира. Теперь уж трудно решить. Но никак не следует думать, будто в нем говорило пустое педанство. Иначе тот же упрек пришлось бы адресовать Жану де Дьё*, который вдруг вскочил, на время отложив смерть, и еще успел вынуть из петли удавившегося в его саду человека, непостижимым образом узнав о нем в муках агонии. Он тоже ратовал только за истину.

Есть одно существо, с виду совершенно невинное; его едва замечаешь и, увидев, тотчас выбрасываешь из головы. Но если, неувиденное, оно заползает в твой слух, оно разрастается там, расплзается и — даже известны случаи — потом попадает в мозг и производит в этом органе разрушительное действие, подобно пневмококкам, проникающим в собак через нос.

Это существо — твой сосед.

Долго мыкаясь в одиночку, я соседей имел без числа; верхних, нижних, справа, слева, а то и со всех четырех сторон сразу. Я бы мог написать историю моих соседей. Это составило бы труд жизни. Скорей получилась бы, правда, история тех болезней, до которых они меня доводили; но это уж общая черта существ, которых мы замечаем лишь вследствие расстройств, производимых ими в известных тканях.

Были у меня непредсказуемые соседи и другие, исключительно правильные. Я часами просиживал, пытаюсь вывести закон, которому подчинялась бы первая категория. Ведь была и на них, очевидно, управа. Когда же мой пунктуальный сосед вдруг не являлся в обычный час ввечеру, я ломал голову над тем, что с ним могло приключиться, жег свечу и тревожился, как новобрачная. Были у меня со-

* Жан де Дьё (1495—1550) — основатель монашеского ордена.

седи, в основном, ненавистники, и соседи, обуянные пылкой любовью; но одно, я постиг, может вдруг, среди ночи, преобразоваться в другое, и тогда, разумеется, даже нечего думать о сне. Вообще, надо заметить, сон — не такое распространенное явление, как полагают. Двое моих петербургских соседей, к примеру, не слишком налегали на сон. Один стоял и играл на скрипке и, уж без сомнения, все поглядывал на бессонные окна напротив, так и не угасавшие немислимой августовской ночью. О другом соседе — справа — я хоть знал, что он лежит. В мои времена он уже вовсе не поднимался с постели. Даже глаза у него были закрыты, из чего, однако, вовсе не следует, что он спал. Он лежал и декламировал длинные стихотворения — Пушкина, Некрасова — с выражением, какого требуют от школьников. И, невзирая на музыкальность соседа справа, именно он-то, со своими стихами, сплел у меня в мозгу кокон, из которого неизвестно еще что бы вылупилось, не ошибись как-то дверью навещавший его студент. Он и поведал мне историю своего приятеля, в общем довольно успокоительную. Во всяком случае, прямой, безыскусственный этот рассказ изничтожил личинки зревших во мне подозрений.

Мелкому чиновнику, соседу моему, однажды в воскресенье пришла мысль решить удивительную задачку. Он предположил, что жить ему осталось еще долго, лет эдак пятьдесят. Собственная щедрость привела его в отличное расположение духа. Но он захотел превзойти себя. Он рассудил, что года эти можно обратить в дни, часы, минуты, да — в секунды, если угодно; и он считал, считал и получил в результате такую сумму, каких дотоле и не видавал. Дух в нем занялся. Пришлось поразмыслить. Время, он вечно слышал, вещь драгоценнейшая, и его поразило, что особу, обладающую таким количеством времени, не охраняют. Ведь его и похитить недолго! Но хорошее, превосходное даже, можно сказать, настроение тотчас к нему воротилось; он надел шубу, чтобы выглядеть повнушительней, и отвалил самому себе чек на баснословный сей капитал, притом адресуясь к себе чуть-чуть снисходительно.

— Николай Кузьмич,— сказал он благодушно и вообразил себя же, но без шубы, жалкого, тощего, на жестком диванчике,— я полагаю, Николай Кузьмич,— сказал он,— вы не возгордитесь от своего богатства. Помните — деньги не главное. И среди бедняков встречаются люди достойнейшие, попадают, знаете ли, и разорившиеся дворяне, и генеральские дочери, бывает, метут подолами улицу.— И тут благодетель привел известные на весь город примеры.

Другой Николай Кузьмич, на жестком диванчике, счастливчик, покуда ничуть не глядел гордецом; видно было, что он не утратит благоразумия. В самом деле, он ничего решительно не стал изменять в скромнейшем своем и правильном образе жизни, а по воскресеньям теперь приводил он в порядок счета. Но уже недели через две он заметил, что страшно растратился. «Надо быть экономнее»,— сказал он себе. Он вставал теперь раньше, впопыхах умывался, пил чай на ходу, вприпрыжку устремлялся в присутствие и являлся до времени. На всем экономил он чуточку времени. Но к воскресенью сбереженья таяли. И он понял, что его провели. «Не надо мне было размениваться,— подумал он.— Как бы надолго хватило чудесного, круглого, целого года! А эта проклятая мелочь расходуется неизвестно куда». И вот в один ужасный вечер он сидел на своем диванчике и ждал господина в шубе, с которого намеревался требовать остатнее время. Он запрет дверь на засов, он его не отпустит, покуда тот не расплатится. «Ассигнациями,— он скажет ему.— И благоволите десятками». Четыре бумажки по десять лет и одну — в пять, а разницу, черт с ним, пускай оставляет себе! Да, пускай он подавится разницей, лишь бы все сошло гладко. Сам не свой, он сидел на диванчике, ожидая; господин же в шубе к нему не явился. И хотя он, Николай Кузьмич, всего несколько недель назад воображал себя с легкостью вот на этом диванчике, теперь на нем в самом деле сидя, он не мог и вообразить Николая Кузьмича — господина в мехах, благодетеля. Бог его знает, куда он подевался; может быть, его выследили и упрятали за решетку. Уж конечно, не одного Николая

Кузьмича он подвел. Такие проходимцы играют по-крупному.

Он сообразил, что есть, верно, государственное заведение, вроде Временного Банка, где можно поменять хоть часть своих жалких секунд. Ведь они как-никак не фальшивые. О подобных заведениях он не слышал, но не сомневался, что можно что-то такое отыскать в справочной книге под литерой «В». Впрочем, он, возможно, называется, Банк Времени, и тогда, стало быть, смотреть следует под литерой «Б». На худой конец, можно попытаться и литеру «Г», ведь заведение может называться и Государственным Банком; дело как-никак ведь нешуточное.

Впоследствии Николай Кузьмич всегда уверял, что хотя на душе у него, понятное дело, кошки скребли, он капли в рот не брал в тот памятный вечер. И был, соответственно, трезв как стеклышко, когда произошло нижеследующее. Возможно, Николай Кузьмич и вздремнул в уголку дивана — вещь натуральная. Сперва этот коротенький сон даже очень его подкрепил. «И что я все вожусь с цифрами, — решил он. — Я же ничего в них не смыслю. Да и вообще с ними незачем слишком носиться. Это ведь так себе, государственная условность, для поддержания порядка введенная. Их никто и в глаза-то не видывал, иначе как на бумаге. Мыслимое ли дело, к примеру, повстречать семерку или, скажем, двадчатку где-нибудь в обществе? Даже и думать нечего. Вот и произошла эта несуразная путаница: время — деньги, словно одно от другого неотделимо». Тут Николай Кузьмич чуть не расхохотался. Ловко же он углядел подвох, и вовремя, главное — вовремя. Теперь-то пойдет все по-новому. С этим временем, конечно, впрямь выходит вещь неприятная, но разве и для других не делится оно на секунды, даже если они ни о чем не подозревают?

Николай Кузьмич испытал, пожалуй, некоторое злорадство. «А пусть их...» — уже думал он, но тут произошло кое-что необычное. Чем-то повеяло ему в лицо; дохнуло за уши; подуло на руки. Он раскрыл глаза. Окно было заперто. И, сидя в темной комнате с широко раскрытыми

глазами, он вдруг понял, что это мимо проходит само время. Он узнавал их, крохотные секундочки, равнодушные, все как одна, но быстрые, но быстрые. Бог их знает, чего еще можно от них ожидать! И чтоб такое приключилось именно с ним, когда он малейшего ветерочка боится! Неужто же так ему теперь и сидеть на сквозняке — всю жизнь? Он представил себе неминуемый насморк и пришел в негодование. Он вскочил. Но неожиданности еще не кончились. Под ногами у себя он тоже ощутил шевеление, и не простое какое-нибудь, а сложное, вроде эдакого странного колыхания, что ли. Он застыл от ужаса. Господи, неужели же это земля? Ну да, она ведь действительно вертится. Про это и в школе еще говорили; потом это как-то забылось, об этом распространяться не принято. Но теперь вот он стал восприимчив до крайности и все замечает. Интересно, другие — они замечают? Возможно, кое-кто замечает, только вида они не показывают. Возможно, им это все нипочем. А он, Николай Кузьмич, исключительно тонко чувствителен; он и конки-то избегает. Качаясь, он прошелся по комнате, как по корабельной палубе, то и дело хватаясь за стены. В довершение бед что-то смутно ему вспоминалось про наклонность земной оси. Нет, это, ей-богу, уж слишком! Его тошнило. Лежать и не двигаться — так когда-то он где-то читал. И с тех пор Николай Кузьмич не поднимался с постели.

Он лежал с закрытыми глазами. Бывали периоды, бывали дни меньшего колыхания, что ли, когда жизнь казалась сносной Николаю Кузьмичу. Тогда и напал он на чудесное средство — стихи. Просто представить себе невозможно, как они помогают! Когда медленно декламируешь, ударяя на рифмы, у тебя есть что-то устойчивое, на что, в переносном, разумеется, смысле, можешь ты опереться. Счастье еще, что он такую массу стихов выучил наизусть. Впрочем, он всегда увлекался литературой. Он не жаловался на свое положение, уверял давно его знавший студент. Но постепенно он стал неумеренно восхищаться теми, кто, подобно студенту, на ходу переносит земную качку.

Я потому так подробно запомнил эту историю, что она невероятно меня успокоила. С уверенностью могу сказать, что никогда больше не бывало у меня такого милого соседа, как Николай Кузьмич, который, без сомнения, восхищался и мною.

После этого опыта я решил в подобных случаях сразу обращаться к фактам. Я заметил, как они бесхитростны и просты в противоположность нашим догадкам. В самом деле, будто я не знал, что все наши умозаключения искусственны и подтасованы, не иначе. После них начинается сразу же новая страница, без переноса. И насколько зато в данном случае мне помогли немногие факты, какие ничего не стоило установить. Сейчас я к ним перейду, только сперва выскажу то, что меня занимает: эти факты еще утяжелили мое положение, которое (теперь понимаю) и без того было не из легких.

К чести моей надо сказать, я в ту пору много писал; прямо-таки взахлеб. Разумеется, когда я выходил на улицу, я не слишком торопился домой. Я даже делал крюк и терял на нем полчаса, которые мог бы употребить на работу. Признаюсь — это слабость. Но зато уж у себя в комнате мне не в чем было себя упрекнуть. Я писал, это была моя жизнь, а в соседней комнате шла совсем другая жизнь, не имевшая с моей ничего общего: жизнь студента-медика, готовившегося к экзаменам. Мне ничего подобного не предстояло — уж в этом одном существенное различие. Прочие наши обстоятельства тоже были решительно противоположны. Я нисколько не заблуждался. До той самой минуты, когда начиналось *это*. Вот тут-то я забывал, что между нами нет ничего общего. Я так вслушивался, что сердце у меня колотилось на всю комнату. Я все бросал и вслушивался. И *это* начиналось. Ни разу я не ошибся.

Каждому почти знаком звук, производимый круглой жестяной, ну, скажем, крышкой от банки, когда она выскальзывает у тебя из рук. Обычно падает она без грохота, сразу стихает, кружит на ребре и докучает только тогда,

когда падает, подпрыгивает, дергается и дребезжит перед тем, как окончательно успокоиться. Итак — вот вам все: в соседней комнате падал жестяной предмет, катился, ложился, и тогда, через равные промежутки времени, раздавался топот. Как все повторяющиеся звуки, имел и этот звук свою закономерность; он всегда менялся, никогда не повторялся в точности. В том-то именно его закономерность и состояла. Он бывал то громкий, то нежный, то грустный; то он как бы торопливо частил, а то мучительно долго тянулся. Последнее вздрагиванье было всегда неожиданно. Топот же, напротив, повторялся почти механически. Но всякий раз он делил звук на разные доли, и в этом, казалось, состояло его назначение. Теперь-то мне куда легче разобратся во всех этих подробностях; комната рядом со мною пуста. Студент уехал домой, в провинцию. Уехал отдохнуть. Я живу в верхнем этаже. Направо — другой дом, в комнату подо мной так никто и не въехал. У меня нет соседей.

И в нынешнем моем положении меня почти даже удивляет, что я так близко к сердцу все принимал. Ведь чутье всякий раз предупреждало меня. Этим бы и воспользоваться. Тут бы себе и сказать: «Не бойся. Сейчас начнется». Ведь знал же я, что никогда не ошибаюсь. Но, может быть, из-за этих фактов именно все и происходило. С тех пор как я их узнал, я стал еще больше бояться. Почти жутью меня пробирала мысль, что весь этот шум — следствие легкого, медленного, беззвучного движения, каким веко студента самовольно прикрывало правый его глаз, покуда он читал. В том-то и закавыка — в этом пустяке. Он уже не раз пропускал экзамен, у него страдало самолюбие, деревенская родня, верно, в каждом письме его попрекала. Необходимо было взять себя в руки. И вот за несколько месяцев до финала его одолела эта слабость, невозможная нелепость, смехотворная, как если бы ни за что не желал держаться открытым ставень на окне. Уверен — не одну неделю он честно надеялся побороть свою слабость, иначе разве пришло бы мне в голову предлагать

ему в подмогу мою волю. В один прекрасный день я понял, что собственная его воля на исходе. И с тех пор, когда я чувствовал — сейчас начнется, я подходил к стене со своей стороны и предлагал ему помощь. И со временем мне стало ясно, что он ее принимает. Быть может, ему и не следовало ее принимать, особенно как подумаешь, что толку-то все равно не было никакого. Предположим даже, мы добивались оттяжки, но вот вопрос — в состоянии ли он был воспользоваться выигранными секундами. Мои же траты начинали сказываться. Помню, я гадал уже, сколько все это еще может тянуться, в тот самый вечер, когда кто-то поднялся на наш этаж. Лесенка была узенькая, шум всегда раздавался по всему дому. Немного погодя мне показалось, будто к соседу кто-то вошел. Наши двери были последние по коридору, его дверь наискосок и совершенно рядом с моей, и я знал, что к нему захаживают приятели, впрочем, я уже говорил, меня это решительно не занимало. Возможно, дверь его даже много раз открывалась, к нему заходили и уходили. Я за это, право же, не отвечаю.

Но в тот самый вечер дело было совсем скверно. Было не очень поздно, но я измучился и лег в постель. Я надеялся, что сумею заснуть. И вдруг я вскочил, будто кто меня толкнул. И сразу же — разразилось. Запрыгало, покатилося, стучалось, качалось, гремело. Топот был ужасный. Меж тем снизу рассерженно, отчетливо колотили в потолок. Новый жилец, натурально, тоже разволновался. Ну да. Это ведь его дверь. Сон как рукой у меня сняло, и я, кажется, различил скрип его двери, хоть он ее открывал с поразительной осторожностью. Мне почудилось — он приближается. Естественно — он хотел узнать, в какой комнате шум. Непонятна была только эта преувеличенная деликатность. Мог бы, кажется, заметить, что в этом доме о тишине не слишком заботятся. Чего же ради так тихонько ступать? На секунду мне показалось, будто он у моей двери; и тотчас я понял, я совершенно уверился, что он вошел в соседнюю дверь. Взял и вошел в соседнюю дверь.

И тут (как описать?), тут стало тихо. Тихо, как когда отпускает боль. Удивительная, осязаемая, зудящая тишина, будто затягивалась рана. Теперь я мог спокойно спать. Глубоко вздохнуть — и заснуть. Но мне не давало заснуть удивление. Кто-то говорил в соседней комнате, но голос был — часть тишины. Такую тишину надо услышать, ее нельзя передать. Я сел и вслушался: было как в деревне, на воле. Господи боже, думал я, да это же его мать. Она сидит подле свечи, она с ним говорит, он, наверное, склоняется головой ей на плечо. Сейчас она его уложит в постель. Теперь я понял, отчего так тихи были шаги в коридоре. Да, вот оно. Существо, перед которым и двери открываются не так, как перед нами, — иначе. А теперь можно было спать, спать.

Я почти уж забыл своего соседа. Я прекрасно сознаю, что не принимал в нем истинного участия. Правда, я изредка, мимоходом, справляюсь внизу, есть ли о нем вести и какие. И я радуюсь, если вести хорошие. Да нет, я преувеличиваю. Мне, собственно, до него нет дела. И вовсе не из-за него иной раз вдруг меня подмывает войти в соседнюю комнату. От моей двери до соседней всего один шаг, и комната соседняя не заперта. Интересно взглянуть, что там за комната. О любой комнате легко составить себе предварительное понятие, и часто оно оказывается приблизительно верно. Только комната рядом с твоею всегда совсем не такая, какой ты ее себе представлял.

Я говорю себе, что именно это обстоятельство и привлекает меня. Но ведь я же отлично знаю, что там меня дожидается один жестяной предмет. Я убедил себя, что это непременно жестяная крышка, но, разумеется, я могу ошибаться. Впрочем, это неважно. Просто так уж мне вздумалось — все свалить на жестяную крышку. Едва ли он увез ее с собой. Конечно, в комнате прибирали и крышку положили на банку — положили куда следует. И обе теперь сообща образуют понятие «жестянка», круглая жестянка — точно выраженное, простое и привычнее понятие. Ка-

жется, я даже припоминаю, как они стоят на каминной полке, две части, составляющие жестянку. Да, да, и они стоят перед зеркалом — обе, — так что в нем встает и другая жестянка, обманчиво сходная, воображаемая. Жестянка, на которую мы не обращаем решительно никакого внимания, но которую готова схватить, например, обезьяна. Вернее, даже две обезьяны ее готовы схватить, ведь и обезьяна удвоится, попав на каминную полку. Ну вот. Значит, это крышка от жестянки тогда изводила меня.

Договоримся: речь идет о крышке от жестянки, от непомятой жестянки, у которой края изогнуты точь-в-точь как края самой крышки. Такая крышка одного только и должна желать — прикрывать жестянку; больше ей и мечтать не о чем, это для нее венец, исполнение всех желаний. Не правда ли — идеальное состояние: ровнехонько прийтись по круглому ранту, куда тебя мягко, легонько приладят, и чувствовать в себе выступающие края, гладкие, точь-в-точь такие же острые, как собственные твои края, когда ты лежишь в одиночку. Но ах! — до чего же немногие крышки способны это ценить! Тут-то и сказывается, насколько испортились вещи, якшаясь с людьми. Ведь люди — если позволительно их, между прочим, сравнивать с жестяными крышками — удивительно косо и плохо сидят на своих местах. То оттого, что очутятся впопыхах не на своем месте, то оттого, что их кое-как и нехотя на него сажают, то оттого, что соответственные края погнуты у них как попало. Будем уж до конца откровенны: они только и мечтают, как бы спрыгнуть, покатиться и задрезать. Откуда взялись бы иначе так называемые развлечения и шум, который они производят?

Вещи уже много веков это видят. И ничуть не странно, что они портятся, им надоедает их прямая, тихая цель, им хочется попользоваться жизнью, как — видят они — сплошь и рядом ею вокруг пользуются. Они стараются уклониться от своих обязанностей, делаются вялы, расхлябанны, и люди нередко их ловят с поличным на какой-нибудь пакости. Люди все это по себе знают. Они сердятся,

оттого что они сильней, и считают, что больше права имеют на перемены, и чувствуют, что их передразнивают. Однако они попустительствуют вещам, как попустительствуют и себе.

Но едва сыщется среди них один, кто из всех сил стремится сосредоточиться, отшельник, например, который пожелает круглой, полной, денной и ночной замкнутости,— и тотчас он вызывает презрение, хулу и злобу в порченных предметах, по нечистой совести не терпящих, чтобы что-то себя сдерживало и доискивалось собственного значенья. И они сговариваются его мучить, страшать, водить за нос, они подмигивают друг дружке и сговариваются его со-вратить, и заговор разрастается, и уже все — и сам Господь Бог — ополчаются против одинокого, который, возможно, и выстоит: против святого.

Как же я понимаю теперь те странные картинки, на которых вещи простейшего обихода сходят с ума и, любопытствуя и вождедея, совращают друг друга: котлы выкипают на клокочущие идеями колбы, пустые воронки ввинчиваются в дыры, их убажая. И, порожденные неразборчивой ревностью пустоты, разбросаны среди них руки, ноги, лица, обдающие их теплой блевотой, и угодливо им подставляющиеся бледнеющие зады.

И святого коробит, он отворачивается. Но в глазах уже мелькнул попустительный взгляд: он на это смотрел. Уже выпал осадок в чистом растворе души. Уже облетела пушистая листва молитв, они поднимаются из уст сухими сучками. Сердце опрокинулось, истекло в окружающую муть. Хлыст бьет нехотя, как хвост, отгоняющий мух. Водворившись на место, пол — когда напролом через свалку, выкатив голые груди, пробирается женщина — к ней устремлен, как указующий перст.

Было время, эти картинки казались мне устарелыми. Не то чтобы мне во все это не верилось. Я вполне допускал, что такое могло происходить со святым, торопыгой, которому не терпелось поскорее добраться до Бога, любую це-

ной. Теперь у нас не хватает на это духу. Мы догадываемся, что Он для нас чересчур сложен, что надо сперва Его отодвинуть, чтобы одолеть расстояние долгим трудом. И теперь я знаю — этот труд завоевывается, как святость. И борьба предстоит тому, кто готов заплатить за него одиночеством, как некогда она предстояла отшельникам Божиим в пустыне.

Говоря об отшельнике, мы слишком много делаем допущений. Мы полагаем, будто люди знают, кто имеется в виду. А они не знают. Они его никогда не видели, они только его ненавидят, не зная. Они были его соседями и ему мешали, они были голосами в соседней комнате и его искушали. Они науськивали на него вещи, чтоб гремели и заглушали его голос. Дети были против него в разговоре, потому что сам он был ребенок и нежен, а чем больше он рос, тем больше росла его противопоставленность взрослым. Они его гнали, как зверя, и во всю его долгую юность ни разу не бывало запрета на эту охоту. Но он не падал загнанный, он убегал, и тогда они хулили, и презирали, и поносили то, что от него оставалось. Он не слушал, и тогда они сжирали его пищу, сглатывали его воздух, оплевывали его нищету так, чтоб она ему стала мерзка. Они его чурались, как прокаженного, и бросали в него камни. И древний инстинкт не обманывал их: он был в самом деле их враг. Но он не поднимал на них глаз. И они одумались. Они догадались, что ему все это на руку. Что они только укрепляли его в одиночестве, только помогали отделиться от них — навсегда. И тогда они переменялись, они применили против него последнее, крайнее, иное оружие: славу. А уж на ее грохот почти каждый поднимет глаза и рассеется.

Нынче ночью мне пришла вдруг на ум зеленая книжица, которая, кажется, принадлежала мне в детстве, и уж не знаю почему, мне представляется, что досталась она мне от Матильды Брае. Сначала она не заинтересовала меня, и впервые я ее прочитал лишь годы спустя, вероятно, во

время каникул в Ульсгоре. Но сразу же я почувствовал ее существенность. Все в ней было полно значенья, даже судя по внешности. Зелень переплета на что-то намекала, по ней сразу угадывалось, что будет внутри. Словно в сговоре, выступали: сперва гладкий муарово-белый форзац и следом титул, казавшийся исполненным тайны. По всем признакам внутри ожидалась картинка, но их не было, и приходилось скрепя сердце признать, что и это закономерно. Слегка утешала в разочаровании поджидавшая на условном месте куцая ленточка, устало, чуть вкось покоившаяся издавна между тех же страниц и трогательно мнившая себя по-прежнему розовой. Быть может, ею вовсе не пользовались и переплетчик ловко и быстро сунул ее туда, даже не глянув. Но быть может, все не случайно. Быть может, кто-то на этом именно месте оторвался от чтения, чтобы никогда не читать больше; вдруг судьба в тот миг постучалась к нему и увела далеко от книг, которые ведь все же — не жизнь. Невозможно узнать, читали ли книгу дальше. Позволительно думать еще, что просто ее открывали снова и снова на этом месте и читали снова и снова, бывало, и за полночь. Во всяком случае, на меня нагоняли робость две эти страницы, как зеркало, перед которым кто-то стоит. Я их так и не прочел. Вообще, не помню, прочел ли я подряд всю книгу. Она была не толстая, но содержала множество разных историй; по вечерам всегда обнаруживалась какая-нибудь, еще нечитаная. Помню только две из них. Конец Гришки Отрепьева и падение Карла Смелого*.

Бог ведает, произвела ли она тогда на меня впечатление; но и сейчас, через столько лет, я вспоминаю, как труп самозванца три дня валялся, брошенный на позор, исколотый, изувеченный, в маске. Нет, разумеется, ни малейшего вероятия, что книжица опять попадет ко мне в руки. Но это было, надо полагать, замечательное место. И еще хорошо бы перечесть про его свидание с матерью. Он, видно, очень

* Карл Смелый (1433—1477) — бургундский герцог (с 1467) — противник централизации королевской власти, защитник феодальной вольницы, имевший репутацию «первого рыцаря Европы».

был в себе уверен, если приказал ей явиться в Москву. Я даже убежден, что он к тому времени до того уверовал в себя, что в самом деле думал, будто призывает свою мать. И эта Мария Нагая, день-деньской к нему поспешавшая из захудалого монастыря,— в конце концов, что теряла она, соглашаясь? Но не стал ли он маяться сомнениями как раз с тех пор, как она признала его? Я не исключаю, что сила его превращения и зиждилась на том, что он был уже ничей сын.

(Это, в конце концов, сила всех молодых, которые уходят.)*

Народ, избиравший его на царство, не зная царя, делал еще безграничней его возможности. Но признание матери, даже будучи заведомой ложью, все же властно было его окоротить; оно подсекало его изобретательность; вгоняло в рамки вялого подражательства; сводило к единственному — к чужому — лицу; превращало в обманщика. Прибавлялась Марина Мнишек, предававшая его тихой сапой, веря, как оказалось впоследствии, не в него самого, но в каждого**. Я, разумеется, не поручусь, что все это было разобрано в книжице. Об этом, мне кажется, следовало бы рассказать.

Но как бы там ни было, само происшедшее несколько не устарело. Легко представить себе автора, который углубится в описание последних мгновений. И будет прав. Они бесконечно насыщены: как, из тяжелого сна, бросается он к окну, из окна во двор, прямо на стражу. Он не может встать; ему помогают. Кажется, сломана нога. Опираясь на двоих, он чувствует — они в него верят. Он озирается — верят и остальные. Ему почти жаль их, могучих стрельцов; далеко же зашло: видели самого Грозного въяве и вот — верят в *него*. Он даже хочет им открыться, но с губ слетает лишь стон. Боль пронзает ногу, ему уже не до гордости, он одно только помнит — боль. Да и времени нет уже.

* Написано на полях рукописи (*примечание Рильке*).

** Марина Мнишек, дочь сандомирского воеводы, была невестой Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II.

Окружают. Он видит: Шуйский*. За ним — все. Сейчас — кончится. Но стража его обступает. Не выдает. И совершается чудо. Вера этих стариков заслоняет его, никто не смеет к нему подступиться. Шуйский, рядом, отчаянно зовет к окну. Он не смотрит. Он знает, кто там стоит; вдруг он чувствует тишину, мгновенную, без перехода. Сейчас будет голос, который уже он знает, голос ломкий, надсаженный, лживый. И тут он слышит, как царица-мать отрекается от него.

До сих пор события развивались сами собою; но здесь мне подайте рассказчика, рассказчика: ведь еще несколько всего строк отменяли бы все противоречья. Упомянуто об этом, нет ли, но можно поклясться, что между голосом и выстрелом, сближенными до предела, снова ощутил он волю и возможность стать всем. Иначе не понять, какая блистательная логика была в том, что они ему протыкали сорочку и всего искололи штыками, словно доискиваясь до сердцевины. И что и по смерти, три целых дня, оставался он в маске, от которой почти уже отказался.

Теперь, как подумаю, мне странно, что в той же книге рассказано о конце того, кто всю жизнь свою оставался одним собою, твердый и неизменяемый, как гранит, и даже еще тяжелее давил на всех, кто его терпел. В Дижоне висит его портрет. Но и без портрета мы знали, что был он коренаст, приземист, неистов, упрям. Только вот неожиданны руки. Очень горячие руки, вечно ищущие остуды и хватающиеся за холодное, загребая пальцами воздух. В эти руки кровь ударяла, как иным ударяет в голову; и, сжатые в кулаки, они и впрямь походили на безумные головы, обуянные бредом.

Немыслимой осмотрительности требует такая кровь. Герцог был заточен с нею вместе в себе и порой опасался ее потаенного, темного тока. Даже ему самому она казалась пугающе чуждой, кипящая полупортугальская, почти

* Князь Василий Иванович Шуйский, после свержения Лжедмитрия I избранный на царство. Правил с 1606 по 1610 г.

незнакомая кровь. Он нередко боялся, как бы во сне она не взбунтовалась и не разорвала его. Он прикидывался, будто умеет ее укрощать, но жил вечно под страхом. Ни разу он не посмел полюбить женщину, чтобы кровь его не взревновала, и так была она бешена, что он и не прикасался к вину, вместо вина ее охлаждая розовым муссом. Впрочем, однажды он пил, в лагере под Лозанной*, когда был проигран Грансон**. Он был болен, и опустел, и пил очень много неразбавленного вина. Но тогда кровь его спала. В беспмятные последние годы часто она погружалась в тяжелый, звериный сон. И тогда становилось ясно, насколько он в ее власти; ибо когда она спала, он был — ничто. Тогда ни один из подданных не входил к нему; он не разбирал их речей. Весь пустой, он не мог принимать иноземных послов. Он сидел и ждал, когда же она проснется. И она просыпалась рывком, с грохотом вырывалась из сердца и закипала.

Ради этой своей крови он таскал за собою все вещи, которым не придавал он цены. Три огромных алмаза и другие каменья; фламандские кружева и аррасские ковры без числа. Шелковый шатер, затканый золотом, и четыреста палаток для свиты. И картины, писанные на дереве, и двенадцать апостолов из литого, тяжелого серебра. И принца Тарентского, и герцога Клевского, и Филиппа Баденского, и господина Шато-Гийона. Так хотел он уговорить свою кровь, что он император и над ним нет никого; чтоб она устрашилась. Но кровь не верила, несмотря на все его доводы,— до того недоверчива была эта кровь. Быть может, на какое-то время она и смутилась. Но рога Ури его выдали***. С той поры кровь его знала, что течет в жилах потеряннго человека. И жаждала выхода.

Так я теперь это вижу; но тогда мне было всего интересней читать про то, как в день Богоявления они искали его.

* Швейцарский город, который Карл Смелый безуспешно осаждал.

** У стен Грансона войска Карла Смелого потерпели поражение 2 марта 1476 г.

*** Ури — один из кантонов Швейцарии. Рога швейцарцев напоминали Карлу Смелому о поражении при Грансоне.

Юный лотарингский князь вечером сразу же после странно скоропалительной битвы вошел в свой несчастный город Нанси, и ранней ранью разбудил свитских вопросом о герцоге. Следи гонца за гонцом, и сам он то и дело появлялся в окне, опечаленный и тревожный. Не всегда узнавал он тех, кого везли в каретах на дорогах; он одно видел — это не герцог. Не было его и среди раненых, и ни один из пленных, которых вели и вели, не видел его. Но бежавшие с поля говорили все разное и дрожали от страха, словно боялись на него натолкнуться. Уже темнело. О нем ничего не знали. Весть об его исчезновении за долгий зимний вечер успела далеко расползтись. И каждый, кто ее слышал, испытывал острую, точную уверенность, что он жив. Никогда прежде, пожалуй, герцог не был так неопровержим в каждой душе, как той ночью. Не было дома, где бы не сидели без сна и не вслушивались в его приближающиеся шаги. И если он не входил, то лишь оттого, что прошел уже мимо.

Той ночью морозило, и мысль о том, что он жив, словно тоже сковало морозом, такой была она твердой. И минули годы и годы, покуда она растаяла. Все эти люди, сами не сознавая, упорствовали в том, что он жив. Судьба, которой он их обрек, была выносима только благодаря его личности. Тяжело досталось им знание о том, что он есть; но, узнав его, они понимали, как он заметен и незабываем.

На другое утро, седьмого января, однако, продолжились поиски. И на сей раз был у них вожатый. То был паж герцога, и он, кажется, издали видел, где упал его господин; теперь он должен был показать то место. Сам он ничего не рассказывал, граф Кампо-Бассо* привел его и говорил за него. И паж шел впереди, прочие тотчас следом. Кто видел его сейчас, нелепо укутанного, странно растерянного, едва узнавал в нем Джана Баттиста Колонну, прекрасного собою, как девушка, и гибкого как тростник. Он дрожал от холода; в воздухе стыла ночная стужа, снег стоном стонал

* Граф Николо де Кампо-Бассо, итальянский кондотьер. Служил Карлу Смелому. В битве при Нанси покинул Карла, что усугубило положение войск Карла и способствовало гибели герцога.

под ногами. У всех были стылые лица. Лишь герцогский шут, прозванный Louis Onze*, был в оживлении. Он изображал собаку, мчался вперед, возвращался, на четвереньках трусил рядом с мальчиком; но едва замечал впереди труп, подбегал, сгибался над ним, уговаривал поднатужиться и оказаться тем, кого они ищут. Дав время трупу на размышление, он потом возвращался, ругаясь и костеря мертвецов за лень и упрямство. Так шли они, шли — без конца. Город почти исчез из виду; небо, хоть и студеное, хмурилось, стало серым и плотным. Земля стлалась под ноги равнодушно и плоско, и тесная группка делалась все сиротливее, чем уходила дальше. Все молчали; только увязавшаяся за ними старуха бормотала что-то — надо думать, молилась.

Вдруг передний встал и огляделся. Потом повернулся к Лупи, португальскому лекарю герцога, и указал вперед. В нескольких шагах была ледяная поверхность, озерцо или пруд, и там лежал с десятков полупроваленных тел. Почти голых, обобранных. Лупи, согнувшись, переходил от одного к другому. Уже опознали Оливье де ла Марша** и капеллана. Но старуха опустилась на колени в снегу и скулила над огромной распяленной пятерней, уставленной в нее окоченелыми пальцами. Все бросились туда. Лупи, еще с кем-то, пытался перевернуть лежавший ничком труп. Но лицо вмерзло в лед, и когда его отодрали, одна щека отстала, тонкая, ломкая, другая оказалась отъедена псами или волками, и огромная рана зияла от уха до уха, так что все вместе уже не могло называться лицом.

Все по очереди озирались; каждому позади мерещился римлянин***. Но видели они только шута, он бежал к ним злой, окровавленный. И простирал к ним плащ и все тряс его, словно что-то должно было из него выпасть. Плащ, однако, был пуст. И стали искать примет. И кое-какие

* То есть Людовик XI (франц.) — Карл прозвал так своего шута, видимо, в насмешку над своим кузеном и главным противником — французским королем Людовиком XI (1461—1483).

** Оливье де ла Марш (1425—1502) — французский поэт и историк при дворе Карла Смелого.

*** Итальянские наемники, подкупленные Людовиком XI, предали Карла Смелого при Нанси.

нашли. Разложили костер, обмыли тело теплой водой и вином. Показался рубец на горле, следы обоих нарывов. Лупи больше не сомневался. Но нашлось и другое. Louis Onze обнаружил в нескольких шагах труп большого вороного коня, Могеау*, носившего герцога в день Нанси. Он сел на него, свеся короткие ноги. Кровь из носу все текла ему в рот, и видно было, как он смакует ее, заглатывая. Тут кто-то из слуг вспомнил, что у герцога врос ноготь на левой ноге, и взялись искать этот ноготь. А шут извивался, будто его щекотали, и визжал: «Ах, монсеньор, прости им, болванам, что выдают твои грубые недостатки и не узнают тебя по моей вытянутой физиономии, на которой написаны твои добродетели».

(Герцогский шут первым вошел и в комнату, где положили тело. То было в доме некоего Жоржа Маркиза, никто не ведает почему. Покров еще не натянули, так что шут получил обо всем полное представление. Белизна камзола резко, враждебно спорила с кармином плаща над чернотой одра, под чернотой балдахина. Впереди стояли алые ботфорты, тыча в него огромными золочеными шпорами. А то, что это там, наверху, голова, не вызывало сомнений, ведь на ней сидела корона. Большая герцогская корона в каких-то камнях. Louis Onze обошел кругом, все внимательно оглядел. Даже атлас пощупал, хоть в материях был не знаток. Верно, был добрый атлас, разве дешевле немного для бургундского дома. Он еще отступил, чтоб наглядеться на картину в целом. Краски в снежных отсветах до странности не сочетались. Он все отдельно отпечатывал в памяти. «Хорошо обрядили,— признал он наконец,— разве, может, чуть ярко». Смерть ему представлялась кукольником, которому для спектакля вдруг понадобился какой-нибудь герцог.)**

Лучше сразу отметить кое-какие вещи, не поддающиеся переменам, не сожалея о них и даже не рассуждая. Итак,

* Вороной (*франц.*) — кличка коня.

** Написано на полях рукописи (*примечание Рильке.*).

мне открылось, что я никогда не был настоящим читателем. В детстве чтение мне представлялось профессией, на которой можно будет когда-нибудь остановиться, перебрав по очереди все прочее. Честно говоря, я не очень-то понимал, как это может произойти. Я полагался на то, что это сделается само собою, когда жизнь совершенно перевернется и начнет поступать извне, как исходила прежде изнутри. Я воображал, что она тогда сразу станет понятной и недвусмысленной, уже не оставляющей пищи для криво толков; вовсе не простой, нет, напротив, волнующей, сложной и трудной, если угодно, но — обозримой. Странная безграничность детства, его безусловность, непредвосхитимость будут преодолены. Но как — оставалось неясно. На самом же деле оно продолжает расти, со всех сторон обнимая тебя; и чем больше выглядываешь ты наружу, тем больней ворошишь то, что засело внутри. Бог знает, как это происходит! Но, вероятно, оно разрастается до предела и уж потом разом рушится. Было совершенно очевидно, что взрослых ничуть это не тревожит: они судят, рдят и действуют, и если им трудно — виною только внешние обстоятельства.

До начала таких перемен я и откладывал чтение. Книги будут тогда как приятели, которым можно уделять время, определенное время, и проводить его с пользой и приятностью, пока не надоест. Иные, естественно, окажутся ближе прочих, и нельзя поручиться, что ты не потеряешь на них иногда лишнего полчаса, пренебрегши прогулкой, встречей, первым актом спектакля, забыв про неотложное письмо. Но чтобы волосы вставали у тебя дыбом, горели уши, руки леденели, как металл, чтобы длинная свеча вся выгорала в шандале — о таком, слава Богу, совершенно не мыслилось!

Я перечисляю эти явления, ибо испытал их на себе в те каникулы в Ульсгоре, когда вдруг пристрастился к чтению. Сразу стало ясно, что читать я не умею. Я, разумеется, поторопился, не дождавшись самому себе поставленного срока. Но год, проведенный в Сорё среди почти ровесников,

научил меня не доверять подобным выкладкам. Там неожиданные впечатления вдруг свалились на меня, явно считая меня за взрослого. То были впечатления в натуральную величину, и они нещадно меня давили своим весом. Однако по мере того, как я все более ощущал их нешуточность, у меня открывались глаза и на неотменимость детства. Я понимал, что оно не может пресечься тотчас, едва начинается новый этап. Я говорил себе, что каждый волен проводить рубежи, но все они условны. Сам же я оказался на редкость неизобретателен. Всякий раз, как я пробовал наметить рубеж, жизнь давала мне понять, что знать о нем ничего не знает. И если я упорствовал в мысли, что детство кончилось, тотчас исчезало и будущее, и я шатался, ощущая не больше почвы под ногами, чем оловянный солдатик.

Это открытие, легко можно понять, еще более отдаляло меня от других. Я был занят собою и преисполнен той конечной радости, которую, далеко не дорастя до нее, принимал за печаль.

Беспокоило меня, помнится, еще и то, что, заранее не приурочив чтение к определенному сроку, я многое могу упустить. И, воротясь в таком расположении духа в Ульсгор, увидев там горы книг, я тотчас на них накинулся, почти с нечистой совестью. Я как бы предчувствовал то, что в последующие годы думал так часто: ты не вправе открывать ни одной книги, если не готов прочитать их все. Каждой строкой ты вламываешься в мир. До книг он обладал цельностью и, быть может, после них вновь ее обретет. Но как же мне, не умея читать, с ними со всеми сладить? Они стояли, даже в этом скромном собрании, так безнадежно сомкнув ряды, так жались друг к дружке. Упрямо, отчаянно я кидался от книги к книге, проламывался по страницам, будто взвалив на себя непосильную ношу. В то время я читал Шиллера, и Баггесена*, и Эленшлегера**, и Шакстаффельда***, и все, что нашлось Вальтер Скотта и Каль-

* Йенс Баггесен (1764—1820) — датский писатель.

** Адам Готлиб Эленшлегер (1779—1850) — датский писатель.

*** Адольф Шак фон Стаффельд (1769—1826) — датский писатель.

дерона. Многое должно бы куда раньше попасть ко мне в руки, до другого я совсем не дорос; для тогдашнего моего состояния не было почти ничего подходящего. И тем не менее я читал.

Годы спустя я, бывало, просыпался ночами, и звезды были так близко, так подлинны, плыли мимо с такой значительностью, и странно казалось, как же можно решиться о них забывать. То же бывало со мною, когда, оторвав взгляд от книги, я смотрел наружу, туда, где стояло лето, куда меня звала Абелона. Так неожиданно это случилось, что она звала меня, а я даже не откликнулся. И в самую нашу блаженную пору. Но, уже побежденный, я судорожно цеплялся за чтение и упорно, твердо уклонялся от наших ежедневных праздников. Не умея воспользоваться многими, не всегда явными, знаками естественного счастья, я усматривал в нависающей размолвке посуды примиренья, тем более сладкого, чем дольше его отодвигать.

Впрочем, мой книжный сон оборвался однажды столь же внезапно, как начался; и тут-то стали мы не на шутку друг друга сердить. Абелона не жалела на меня колкостей и насмешек и, когда я ее заставал в беседке, уверяла, что она занята чтением. В одно воскресное утро с нею рядом лежала, правда, нераскрытая книга, но она, кажется, куда более была увлечена смородиной, которую с помощью вилки осторожно счищала с гроздей.

Это было, наверное, одной из тех раней, какие выпадают в июле, в один из свежих, выпавшихся часов, когда повсюду совершаются счастливые безрассудства. Из миллиона крошечных, неодолимых движений складывается убедительнейшая мозаика судьбы; вещи трепещут, сливаются, разъединяются, высветляют своей прохладой тень и солнечным лучам придают легкое призрачное свечение. В саду нарушается шкала ценностей; все становится главным; и надо быть сразу во всем, чтобы ничего не упустить.

Но в нехитром занятии Абелоны тоже было сразу все. Оно так счастливо было найдено. Именно это, именно так и надо было ей сейчас делать. Руки, светящиеся в тени,

двигались легко и дружно, круглые ягоды резво скакали в миску, выложенную росистым виноградным листом, где их поджидали товарки, красные, белые, подожженные солнцем, с крепкими зернышками в терпкой глени. Я хотел одного — смотреть и смотреть, но чтобы не показаться назойливым, уселся по другую сторону стола, с непринужденным видом взял книжку, раскрыл наудачу и принялся читать.

— Хоть бы уж вслух почитал, книгочей,— погода сказала Абелона. В ее голосе отнюдь не было враждебности, и, сочтя случай самым подходящим для заключения мира, я тотчас прочитал вслух до конца абзаца и дальше, до следующей надписи: «Беттине». — Нет, ответы на надо,— прервала меня Абелона и вдруг положила вилку, словно ужасно устала. И тотчас засмеялась тому, как я на нее посмотрел.— Господи, Мальте, до чего же скверно ты читал.

Тут мне пришлось сознаться, что я не следил за словами.

— Я читал только так, чтобы ты перебила,— сказал я, покраснел и пролистал книгу назад, до титульного листа. Только тогда я узнал, что это было*.— Почему же не надо ответы? — с любопытством спросил я.

Абелона как не расслышала. Она сидела, в своем светлом платье, и будто вся потемнела внутри, как потемнели ее глаза.

— Дай-ка мне,— сказала она вдруг, словно рассердившись, отобрала у меня книгу и сразу раскрыла на нужной ей странице. И прочитала одно из писем Беттины.

Не знаю, что я из него понял тогда, но мне словно торжественно обещалось, что когда-то я все пойму. Голос у нее поднимался, стал уже почти тем голосом, каким она пела, и вдруг я устыдился, что так плоско представлял себе наше примирение. Я ведь понял, что это мы помирились. Но примирение произошло где-то там, высоко, в областях, недоступных мне.

* Речь идет, очевидно, о книге «Переписка Гёте с ребенком» (1835). Автор ее — Беттина фон Арним (1785—1859), познакомившаяся с Гёте в Веймаре в 1807 году и полюбившая его.

Обещанное — исполняется, как-то в число моих книг попала та самая книга, в число немногих книг, с которыми я не расстаюсь. Теперь уж и для меня она раскрывается на нужных местах, и, перечитывая их, сам не знаю, Беттина ли, Абелона у меня на уме. Нет, Беттина стала мне ближе; Абелона, которую знал я, как бы ее подготовила и теперь сама вошла и открылась в Беттине. Удивительная Беттина создала своими письмами новое измерение, новый простор. С самого начала она во всем разлилась, будто перейдя заранее смертную черту; она растворилась в бытии, соприродная ему, и все, что случалось с ней, происходит вечно в природе; там она узнавала себя, почти с болью из себя вырывалась; тяжело, как из преданья, возвращалась к себе, вызывала себя, как дух, и себе противостояла.

Ты живая, Беттина. Ты здесь. Разве земля остыла от твоего жара? Разве не ждут твоего голоса птицы? Выпадает другая роса, но звезды — разве не прежние звезды твоих ночей? И разве весь мир — не твой? Как же часто ты его подпаляла любовью и смотрела, как он горит и обугливается, и тайком, когда все засыпали, замещала другим. Ты была в совершенном согласии с Богом, каждое утро требуя новой земли из его рук, ведь всем созданным им мирам настает свой черед. Ты не устаивала их сберегать, исправлять, нет, ты их расточала и тянулась к новым. Ведь любовь твоя стала ровень и равновелика — всему.

Как же возможно, что все не твердят о твоей любви? Что случилось с тех пор такого, что бы было значительней? Что их занимает? Сама-то ты знала цену своей любви, ты громко заявляла своему величайшему поэту, что он ее очеловечивает; а она — стихия. Он же, отвечая тебе, объяснял ее людям. Все читали эти ответы и верят им больше; поэт им понятней природы. Но когда-нибудь еще обнаружится, что здесь-то и пролегла граница его величия. Эта любящая была ему вменена, а он не понял ее. Он не откликнулся? Что это значит? Такая любовь и не ищет ведь отклика; она сама и зов и ответ; она сама себя восполняет, не оскудевая. Поэту же следовало перед нею склониться и пи-

сать под ее диктовку, обеими руками, пав на колени, как некогда Иоанн на Патмосе*. У него не было выбора, этот голос «нес службу ангелов**», явился, чтобы его окутать и увлечь за собою в вечность. То были «кони огненные и колесница огненная*** его вознесения. Против его смерти был уготован темный миф, а он не принял его.

Судьба любит плесть рисунки и узоры. Трудность ее — в ее сложности. Жизнь, напротив, трудна своей простотой. Она состоит из считанных вещей, но громадных и не охватных разумом. Святой, отрешаясь судьбы, именно их избирает перед Богом. Но женщина, уступая природе, связывая себя с мужчиной и делая тот же выбор, будит злой рок, дремлющий в каждой любви. Решительная, без судьбы, перенесаясь в вечность, стоит она рядом с мужчиной, который тем временем изменяется. Любящая всегда превосходит любимого, потому что жизнь больше судьбы. Она хочет сделать свой дар безмерным; в этом ее счастье. Невыразимая мука любви для нее в одном: ее просят ограничить свой дар.

Никаких других жалоб не высказывают женщины. Два первых письма Элоизы**** только их и содержат, а пять веков спустя ей вторит португалка*****; их голоса узнаешь, как голоса птиц. И вдруг по этому ясному полю проходит дальний образ Сафо*****, и века заблудились, ошибкой ее отыскивая по лабиринтам судьбы.

* Апостол евангелист Иоанн Богослов был выслан императором Домицианом на остров Патмос, где написал «Апокалипсис» («Откровение»).

** Рильке назвал это цитатой из Беттины («Переписка Гёте с ребенком»).

*** Библия. Четвертая книга Царств, 2, 11.

**** Элоиза — жена Пьера Абельяра (1079—1142) — французского средневекового философа, богослова и поэта. Трагическая их история любви отражена в их переписке (1132—1135).

***** См. примеч. к стр. 102.

***** Сафо — древнегреческая поэтесса (1-я половина VI в. до н. э.). Родилась и жила на острове Лесбос. Воспевала в стихах красоту своих подруг. По древнему преданию, мучилась от неразделенной любви к красавцу корабельщику Фаону.

Ни разу я не решился купить у него газету. Я даже не уверен, что они у него в самом деле с собой, когда он медленно бродит взад-вперед вдоль Люксембургского сада весь вечер. Он повернут спиной к ограде и водит рукой по каменному, поросшему чугунными прутьями краю. Он так распластан, что многие ежедневно проходят мимо, не замечая его. Правда, голос еще остается и привлекает внимание; но он не громче, чем шорох лампы или печи, чем неровный перестук капли в гроте. И так уж устроен мир, что иные всю жизнь проходят тут в паузах, когда он, беззвучней всего, что движется, продвигается дальше, как стрелка часов, как тень этой стрелки, как время.

Как же я виноват, что не хотел на него смотреть! Мне стыдно сейчас признаваться, что часто, приближаясь к нему, я норовил замешаться в толпе, будто про него и не знал. Тут я слышал голос: “La Presse”*, и тотчас опять, и еще — все поспешней. И люди рядом со мной озирались на голос. А я больше всех торопился, будто всецело поглощенный своими мыслями.

Я и был поглощен. Я был занят тем, что пытался его себе представить, и пот от усилий выступал у меня на лбу. Ведь мне приходилось его создавать, как создаешь мертвого, от которого решительно ничего не осталось, никаких доказательств; которого творишь только силою воображенья. Теперь-то я понял, что мне приходили на помощь образки Спасителя из скользкой слоновой кости, разложенные у всех антикваров. Я припоминал и Пьету** — безусловно, лишь для того, чтобы представить себе наклон длинного лица, беззащитную поросль бородки и окончательную, мучительную незрячесть замкнутой, косо и вверх запрокинутой мины. Но кроме этого ему еще столько всего было присуще; я уж тогда понимал, что в нем нет ничего незначительного, все важно: и то, как палец или плащ отстает на спине, так что ворот виден со всех сторон, низкий ворот,

* Пресса (франц.).

** Пьета — буквально «милосердие» (итал.), в изобразительном искусстве сцена снятия с креста, оплакивание Христа.

широко огибающий вытянутую тощую шею, нигде ее не касаясь; и черный с прозеленью галстук, завязанный вялым узлом, и особенно шляпа — старая шляпа с высокой тульей, твердая, фетровая, которую он надевает, как всегда надевают шляпы слепцы — как чужой, случайный предмет, не учитывая собственных черт, не стараясь создать с нею вместе новую внешность. Трусливо избегая на него смотреть, я довел себя до того, что его образ, часто без повода, сгустился во мне до такой муки, что я решился наконец отпугнуть и подавить его, столкнув с реальностью. Дело было под вечер. Я положил не откладывая пройти мимо, внимательно вглядываясь в него.

А надо вам сказать: дело шло к весне. Улегся дневной ветер. Переулки вытянулись с облегчением; там, где вливались они в проспекты, дома мерцали свежо и ново, как по свежему срезу металл, поражающий легкостью и белизной. На широко катящих улицах толкся народ, почти не боясь экипажей, которых было немного. Башни Saint Suplice весело и странно высоко тянулись в безветрие, а в узкие, почти римские аллеи уже заглядывала будущая весна. В саду и рядом так хлопотала людская масса, что я сперва его не заметил. Или не сразу узнал?

Тотчас я понял, что мое представление никуда не годится. Бесконечная жалкость, ничем не смягчаемая и не скрытая, превосходила силы моего воображения. Я не схватил ни наклона лица, ни ужаса, какой в нем, кажется, беспрестанно вызывали его пустые веки. Я ведь даже не думал про рот, прячущийся как отверстие сточной трубы. Быть может, у него и были воспоминания, но теперь уже ничто не поступало в душу, кроме смутного осязания камня, об который ежедневно стиралась ладонь. Я застыл и, охватив все одним взглядом, понял, что шляпа на нем сегодня другая и галстук, без сомнения, выходной. Он был в косую желто-фиолетовую клетку, что же до шляпы — она была новенькая, дешевая соломенная шляпа с зеленой лентой. Цвета, разумеется, не имеют значения, это уж моя мелочность, что я их запомнил. Должен только сказать, что на нем они были, как нежнейший

пушок на птичьей грудке. Самого его они не могли тешить, и кто бы среди толпы (я поискал взглядом) решился принять все это великолепие на свой счет?

И вдруг меня осенило. Господи! Ты, стало быть, существуешь. Имеются доказательства Твоего бытия. Я все их перезабыл, никогда и не требовал, ведь как чудовищно бы обязывала уверенность! И вот мне, однако уж, указано. Это же Твой вкус, Твое, Господи, благоволение. Чтобы мы учились все терпеть, не судя. Что сурово? Что милостиво? Ведомо Тебе одному.

Когда снова настанет зима и мне понадобится новое пальто — сподоби меня *так* его носить, пока оно будет новое!

Вовсе не для того, чтобы отличаться от них, я ношу приличное, изначально мое платье и непременно хочу иметь крышу над головой. Просто я не дорос до такого. У меня не хватает смелости жить их жизнью. Если б у меня отсохла рука, я бы, наверное, ее прятал. А вот она (кто она — я и не знаю), она ежедневно являлась перед кофейнями, и хоть ей было мучительно трудно снимать пальто и выпрастываться из непонятного тряпья, она не боялась трудов и разоблачалась, разоблачалась, пока уже сил не было ждать. Но вот она стояла перед вами со скрюченным подобьем руки, и вы видели, какая же это редкость.

Нет, вовсе я не хочу от них отличаться. Но я бы чересчур много о себе возомнил, решивши, что я тоже такой. Я не такой. У меня нет ни силы их, ни размаха. Я принимаю пищу, я живу от еды до еды отнюдь не таинственным способом; они же сохраняются почти как бессмертные. Они стоят по своим ежедневным углам даже в ноябре, и зима их не приводит в отчаяние. Выпадает туман, их стирает — тем не менее они остаются. Я уезжал, я болел, со мной много чего приключилось. Они, однако, все живы.

(Я ведь даже не знаю, как встают школяры серым холодным утром; кто дает силы им, торопливым скелетикам,

нырять в город взрослых, в мутный осадок ночи, в школьный нескончаемый день — маленьким, запаздывающим, робким. Я понятия не имею о помощи, которая им постоянно оказывается.)*

Город кишит такими, кто постепенно к ним скатывается. Большинство сперва упирается. Но есть еще блеклые, стареющие девушки, сильные, неистраченные, которых никто никогда не любил. Эти сдаются без боя.

Быть может, Ты считаешь, о Господи, что я должен все бросить и их полюбить? А то — отчего же так трудно мне удержаться и не идти за ними, когда они обгоняют меня? Отчего во мне сразу всплывают самые сладкие, самые ночные слова и голос мой нежно медлит по дороге от сердца к гортани? Отчего же мне чудится, будто я с бесконечной бережностью привлекаю к себе этих кукол, которыми забавляется жизнь, долгими веснами шлепая их по рукам — ни за что, ни за что, — покуда они обмякнут, как плети? Они не сверзались с высот надежды, вот и не разбиты; но страшно побиты и никому не нужны. Только бродячие кошки вечерами забредают к ним в комнаты, тайком царапают их и спят у них на груди. Иной раз я иду за такою следом из улицы в улицу. Они идут вдоль домов; кто-то вечно их заслоняет, и они скрываются, тают.

Но все равно я знаю — если б кто-то решился полюбить их, они бы повисли на нем тяжким грузом, будто зашли чересчур далеко и больше не в силах ходить. Их мог бы вынести разве только Иисус, и поныне наполненный силою своего воскресения. Но Ему не до них. Его привлекают лишь любящие. Не те, кто дожидается своего часа с жалкой способностью быть любимым, как с погасшим светильником**.

Конечно, если уж до края дойдет, не поможет никакое приличное платье. Разве не оказался он вдруг после всей своей царственности среди последних? И вместо того чтобы

* Написано на полях рукописи (*примечание Рильке.*).

** Ср. Евангелие от Матфея, 25, 2—13.

встать, не скатился ли на самое дно?* Правда, я думал, бывало, и об иных королях, хоть в парках от них не осталось свидетельств**. Но сейчас ночь, зима, я дрогну. Я думаю о нем. Ведь величие — всего только миг, и ничего нет дольше беды. И этот король — остается.

Не он ли единственный сохранился под налетом безумия, как восковые цветы под стеклом? Для других по церквям вымаливали многая Лета, от него канцлер Жан Шарль Жерсон*** требовал бессмертия, и это тогда, когда он оскудел, опустился, погряз в нищете, несмотря на корону.

Это тогда мужи с иноземными темными лицами на него наваливались в постели, сдирая присохшую к язвам сорочку, которую он давно уже считал своим телом. Темно было в комнате, и они срывали с окоченелых плеч залубеневшие лоскуты. Потом кто-то засветил свечу, и тут только увидели страшную рану в груди, в которую вонзился железный амулет, оттого что он каждую ночь со всей силой страсти прижимал его к сердцу; и вот он лежал у него внутри пугающей драгоценностью в жемчужинках гноя, как чудотворные мощи в ковчежце. Отыскивали крепких подручных, но и те не могли совладать с омерзением, когда черви, извиваясь, раздавленные, выползали из складок фландрского бархата и заползали к ним в рукава. Без сомнения, дела его стали хуже после того, как *parva regina*****, юная, светлая, она делила с ним ложе. Но она умерла. И ни у кого уже не было духу искать наложниц для этого трупа. *Parva regina* унесла в могилу слова, которыми умела смирать короля. И никто уже не пробивался в сумятицу этого духа; не помогал подняться после обвалов души; никто не понимал его, когда он вдруг озирался ошарашенным взглядом бредущего на выгон животного.

* Далее идет рассказ о французском короле Карле VI Безумном (1368—1422), страдавшем приступами душевной болезни. В народе он был прозван «Любимым» (*Bien-Aimé*) за то, что приближал к себе представителей третьего сословия.

** Ср. «Новых стихотворений вторая часть». Парки. I—VII.

*** Жерсон (1363—1429) — крупный церковный проповедник, ученый-теолог.

**** маленькая королева (*лат.*). Здесь — юная и прекрасная Одетта де Шандивер, конкубина Карла Безумного.

А если он узнавал деловитое лицо Жювеналья*, ему вспоминалось прежнее королевство и хотелось вернуть то, что он расточил.

Но беда тех времен, что о них очень трудно рассказывать. Что ни случалось тогда, обрушивалось всей лавиной, а слова из песни не выкинешь. Как умолчать о том, что был убит его брат**, и не вчера ли еще Валентина Висконти***, которую всегда называл он возлюбленной сестрой, стояла перед ним на коленях, отводила вдовий покров с обвиняющего, сетующего, обезображенного лица, а сегодня твердый, речистый защитник часами доказывал правоту царственного убийцы****, покуда преступление не сделалось как бы прозрачно и чуть не в сиянии вознеслось к небесам. Справедливо казалось всех оправдать; Валентина Орлеанская умерла ведь от горя, хоть ей обещалось мщение. Но что пользы было прощать герцога Бургундского, и снова прощать? Его охватило черное пламя отчаянья, и неделями он отсиживался в палатке в глухом лесу, уверяя, что лишь ночные крики оленей ему облегчают душу.

Вновь и вновь рассудив обо всем от начала и до конца, хоть длилось это недолго, народ пожелал увидеть своего короля и увидел его — растерянного. Однако народ порадовался, его увидя. Народ тотчас понял — это король: терпеливый и тихий, он здесь лишь затем, чтоб принять волю Господа в запоздалом его нетерпении. В те просветленные миги на балконе дворца Saint-Pol королю, быть может, открывался его тайный путь; ему вспоминался день Розбеке*****, когда Иоанн Беррийский***** повел его за руку на место первой

* Жан Жювеналь Дезюрсен (1369—1431) — влиятельный политик при дворе Карла VI.

** Людовик Орлеанский, брат Карла VI, регент при душевнобольном короле. В 1407 г. был убит на улице Парижа наемными убийцами.

*** Жена Людовика Орлеанского. Умерла в 1408 г., вскоре после гибели мужа.

**** Убийца Людовика Орлеанского подослал герцог Бургундии — Иоанн Бесстрашный (1371—1419), сам претендовавший на то, чтобы править Францией.

***** Бургундцы одержали победу во Фламандском походе при Розбеке в 1382 г.

***** Наместник Карла VI в Оверни и Лангедоке.

безусловной победы; в странно медлящем свете ноябрьского дня увидел он тогда зажатых в кольцо, задохнувшихся защитников Гента. Сплетенные, как безмерный какой-то мозг, полегли они горами, в которые сами сплотились для отпора врагу. При виде этих задохшихся лиц перехватывало дух; против воли казалось: воздух взметнуло над стоймя стиснутыми трупами взлетом сразу многих ужаснувшихся душ.

Об этом-то зрелище упрямо твердили ему как о начале славы. И он его не забыл. Но то было торжество смерти, сейчас же, когда он стоял на неверных ногах под множеством взглядов, было другое: таинство любви. Тогда на лицах других он читал, что то поле брани — ужасное — все-таки постижимо; а нынешнее не давалось рассудку, было так же чудесно, как тот давний олень с золотой цепью в лесу Сенлиса. Только взорам сейчас явился он сам, и другие были погружены в созерцанье. Он не сомневался, что и у них обрывается сердце, как некогда у него, у юного, на охоте, когда тихие глаза на него глянули из-за ветвей. Тайна явленности разлилась по кротким чертам; он боялся шелохнуться от страха, что вдруг он исчезнет; легкая улыбка на широком простом лице длилась естественно, как на каменных лицах святых, и его не стесняла. Так стоял он, и это было одно из мгновений, в которых спрессована вечность. И толпа не выдержала. Подкрепленная, утешенная, она грянула восторженным криком. Но там, наверху, на балконе, стоял уже только Жювеналь Дезюрсен и в наступившей тишине объявлял, что король изволил отправиться на rue Saint-Denis*, где ему покажут мистерии.

В такие дни король все понимал блаженно и остро. В поисках прообраза райской жизни богомазу тех лет не нужно бы лучшей модели, чем ссутулившийся подле высокого окна Лувра тихий король. Он листал книгу Кристины Пизанской** под названием «Путь долгого ученичества», посвященную ему. Он не читал ученых прений аллегорического

* улицу Сен-Дени (франц.).

** Кристина Пизанская (1364—1431) — французская писательница, родом итальянка. Книга, о которой идет речь, написана в 1402 г.

совета о короле, достойном править всем миром. Книга для него открывалась на простейших страницах: о сердце, что тринадцать нескончаемых лет, как колба на огне скорбей, очищало горькую влагу слез; он постиг, что лишь там начинается утешение, где счастье иссякло давно и навеки. Ничто не тешило ему душу больше этого рассужденья. И покуда взгляд его блуждал по мосту за окном, он вместе с очарованным сердцем рассказчицы уносился за Кумской Сивиллой* по путям тогдашнего мира: к коварным морям, чужебашенным городам, стесненным натиском далей, к восхищенной одинокости сгрудившихся гор, к небесам, открываемым с робким сомнением и вновь затягивающимся, как родничок у младенца.

Но стоило кому-то войти, король пугался, и ум его медленно погружался во тьму. Он послушно отходил от окна и позволял себя чем-то занять. Его приучили часами рассматривать в книжках картинки; и он был доволен. Одно досаждало ему: что, листая страницы, нельзя удержать взглядом много картинок сразу и что, закрепленные в фолианте, они не могут друг с дружкой встречаться. Тогда-то и вспомнил кто-то про игральные карты, совершенно в ту пору забытые, и весьма угодил королю; ему пришлось по сердцу веселые картинки, живые, отделимые, самостоятельные. Карточная игра вошла в моду при дворе, а король сидел у себя в библиотеке и играл сам с собою. Он выкладывал рядышком двух королев, и точно так же недавно Господь соединял его с кайзером Венцелем**»; случалось ли умереть даме, он, как могильной плитой, покрывал ее червонным тузом. Его не смущало множество пап в игре; Рим поместил он на дальнем краю стола, а по правую его руку лежал Авиньон. Рим не занимал его; по каким-то причинам он вообразил его круглым и тотчас забыл. Но он знал Авиньон***. Едва он

* В книге Кумская Сивилла ведет героиню на небо, где четыре царицы мира спорят о том, кто лучший король.

** Имеется в виду чешский король Вацлав IV (1378—1419), который до 1400 г. был императором Германской империи. В 1397 г. Карл VI ездил в Реймс на свидание с ним.

*** В 1398 г. Карл VI ездил в Авиньон к папе Клименту VII.

о нем вспоминал, воображение повторяло высокий, душный дворец и перенапрягалось. Он закрывал глаза и вздыхал глубоко. И предвидел ночные кошмары.

Но все же это было успокаивающее занятие, и не зря его к нему приохотили. Оно укрепляло его в сознании, что он король, король Карл Шестой. Не то чтобы он преувеличивал свое значение; он ничуть себе не казался важнее пестрых картонок; но в нем крепла уверенность, что и он тоже — определенная карта, пусть плохая, пусть в руках несдержанного игрока, вечно проигрывающая карта — но всегда одна, никогда не другая. Если, однако, неделя целая протекала в таком самоутверждении, ему делалось тесно в себе. Кожа как бы лопалась на лбу, на затылке, словно он вдруг упирался в свой слишком отчетливый контур. Никому не ведомо, какое перебарывал он искушение, когда спрашивал, наконец, про мистерии и дожидаться не мог их начала. И когда наставало время, он больше жил на улице Saint-Denis, чем у себя во дворце Saint-Pol.

Роковая черта разыгрываемых поэм была та, что они не престанно росли, разбухали до десятков тысяч строк; время в них становилось безусловным, действительным временем; это как если бы сделали глобус не меньше земного шара. Впадина сцены, снизу располагавшийся ад, а сверху намекавший на райские выси укрепленный на стропилах помост лишь усиливали правдоподобие. Век тот воистину приблизил к земле и небо и ад; он питался силами обоих, чтобы окончательно не свихнуться.

То были дни авиньонского христианства*, сплотившегося поколением раньше вокруг Иоанна Двадцать Второго**, у которого столь многие искали невольно защиты, что тотчас по его избрании там вырос дворец, замкнутый, тяжкий, как запасное некое тело для всех лишенных земного обиталища

* Французский король Филипп IV Красивый посадил на папский престол французского архиепископа и перенес резиденцию пап в провансальский город Авиньон. «Авиньонское пленение пап» длилось с 1309 по 1377 г. С 1378 по 1417 год было два папы, один в Риме, другой в Авиньоне.

** Иоанн XXII (1245—1334) — второй папа в Авиньоне, с 1316 г.

душ. У него же у самого судьба оставалась неверной. Когда тотчас по прибытии в Авиньон он начал резко, без перехода смелые действия, на стол ему подавали отравленные блюда; содержимое первой чаши всегда приходилось выплескивать, ибо извлеченное кравчим изображение единорога оказывалось обезображенным. Растерянный, не зная, куда их упрятать, таскал за собою семидесятилетний старик восковые фигуры, отлитые с него — ему на пагубу; и накальвался на длинные иглы, которыми их протыкали. Их бы можно расплавить. Но таинственные подобиya наполняли его таким ужасом, что он, как ни крепился, боялся и сам погибнуть, словно воск, тающий перед лицом огня. Его исхудалое тело от ужаса становилось лишь суше и крепче. Но вот посягнули на другое — на его владенья. Евреев в Гранаде подстрекали изничтожить всех христиан, и были у них страшные пособники. Никто, едва поползли слухи, не усомнился в кознях прокаженных; кое-кто даже видел своими глазами, как бросали они узлы разлагающегося тряпья в колодцы. Нет, то не легковерие открывало дорогу слухам; вера, напротив, стала так тяжела, что падала из дрожащих ладоней на дно колодцев. И снова пришлось пылкому старику спасти свою кровь от яда. Уже по его приказу звонили Angelus* для него и присных, дабы отгонять демонов сумерек; и по всему непокойному миру теперь растекалось ежевечерне успокоенье. Впрочем, энциклики, которые составлял он, походили больше на пряное вино, чем на травный настой. Империя не желала верить его лечению; он же не уставал ее пичкать доказательствами болезни; и уже издалека, с востока, обращались за советом к царственному лекарю.

А потом случилось невероятное. На Всех Святых он проповедовал дольше и горячее обычного; повинувшись внезапной потребности показать свою веру — будто себе самому; медленно, собрав все силы, он поднял ее над восьмидесятипятилетней своей дароносицей и показал с амвона. И ему ответили криком. Вся Европа орала: дурная вера!

* Утренняя и вечерняя католические молитвы в честь Богородицы, сопровождающиеся колокольным звоном.



Р. М. Рильке. Незаконченный портрет Паулы Модерсон-Веккер.
Париж, 1905 год

И папа исчез. День за днем пребывал он в бездействии; стоял на коленях у себя на молитве, исследовал тайну действовавших, бравших на душу грех. Наконец, не снеся долгого затвора, он появился на люди и — отрекся. Он отрекся снова и снова. Старческая маета духа требовала отречения. Бывало, он среди ночи велел будить кардиналов, чтобы с ними беседовать о своем покаянии. И быть может, так странно долго держалась в нем жизнь, что он надеялся еще смириться перед Наполеоном Орсини*, который его ненавидел и отказывался прийти.

Якоб Кагорский** отрекся. И казалось, сам Господь ему хотел указать на ошибку, когда очень вскоре призвал к себе сына графа де Линьи***, который будто дожидался совершеннолетия на нашей земле лишь затем, чтобы вкусить сознательно от радостей неба. Многие еще оставались в живых из тех, кто помнил светлого мальчика кардиналом, кто помнил, как на пороге зрелости стал он епископом и, едва достигши восемнадцати лет, умер в восторге от своей завершенности. Видели тогда и очнувшихся от смертного сна: воздух над могилой, в который, освободясь, излилась чистая жизнь, долго воздействовал на тела. Но не было ли отчаяния в этой чересчур скороспелой святости? Справедливо ли, что чистейший этот состав пронесло через жизнь лишь затем, чтоб еще темнее окрасить ее багрецом века? Не содрогнулась разве земля, когда юный принц от нее оттолкнулся в нетерпеливом своем вознесении? Отчего светящиеся не остаются подольше среди тех, кому так трудно нести светильники? И не эта ли тьма заставила Иоанна XXII утверждать, что до Страшного суда не может быть совершенного блаженства даже и для блаженных? В самом деле, сколько праведной жестокости надо иметь, чтобы воображать, будто, покуда на земле творится такое, где-то кто-то уже купается в сиянии

* Наполеон Орсини (1263—ок. 1342) — кардинал, племянник папы Николая III.

** Якоб Кагорский — имя папы Иоанна XXII в миру.

*** То есть Пьер де Люксембург-Линьи (1369—1387), который уже в 17 лет стал кардиналом в Авиньоне.

Господа, покоясь средь ангелов, утешенный ненасытным Его созерцанием!

Вот сижу я холодной ночью и пишу, и я все это знаю. Знаю, может быть, оттого, что мне встретился тот человек, когда я был маленький. Он был очень высокий, я даже думаю, он был необыкновенно высокий.

Как ни странно, мне удалось к вечеру улизнуть из дому. Я бежал бегом. Я завернул за угол, и в тот же миг я с ним столкнулся. Сам не понимаю, как все вместе могло произойти за пять секунд. Как ни сжимай рассказ — рассказывать дольше. Я столкнулся с ним и об него ударился. Я был еще маленький, я очень гордился тем, что не расплакался, и в то же время невольно ждал, что меня станут утешать. Он меня не утешал, и я решил, что он стесняется, что он не находит слов, чтобы все обратить в шутку. Я хотел прийти к нему на выручку; но для этого надо было взглянуть ему в лицо. Я уже сказал — он был высокий. И он не наклонился ко мне, как было бы естественно, а потому оставался на такой высоте, какой я и не ожидал. Передо мной ничего не было — только запах да особенная какая-то жесткость одежды. И вдруг появилось — лицо. Какое? Не знаю. Не хочу знать. Лицо врага. И рядом с этим лицом, совсем рядом, на уровне страшных глаз, как вторая голова — был кулак. Прежде чем я успел увернуться, я уже бежал. Я нырнул влево, я вбежал в пустую, жуткую улицу, улицу чужого города, где нет ничему прощенья.

Тогда-то и перечувствовал я то, что теперь понимаю, — то тяжелое, гибельное, отчаявшееся время. Время, когда поцелуй двоих был сигналом для стоявших рядом убийц. Те двое пили из одной чаши, у всех на глазах бок о бок бросались в седло, говорили даже, будто они спали в одной постели. Но отвращение их друг к другу было так велико, что при виде жилки, бьющейся у другого на шее, каждый мучился отвращением, как при виде жабы. Время, когда брат напал на брата и заточал в темницу, оттого что тот получил большую долю в наследстве. Правда, король заступался за оби-

женного, возвращал ему имение и свободу, и, предавшись чуждой и дальней судьбе, старший оставлял в покое младшего и в письмах просил прощения. Но вызволенный не мог оправиться. Век его изображает паломником, он бродит от храма к храму, измышляя все более мудреные обеты. Увешанный ладанками, вышептывает он монахам Saint-Denis свои страхи, и долго сохраняется в их приходных записях стофунтовая восковая свеча, которую почел он достойной Святого Людовика*. Жизнь шла прахом; злоба и зависть брата до конца давили на сердце. И всеми чтимый граф де Фуа, Гастон Феб** не убил ли открыто своего кузена Эрно, английского наместника в Лурде? Но что это явное убийство в сравнении с мрачной случайностью, когда, не отбросив острой пилочки для ногтей, дивно прекрасная рука с упреком дернулась к голой шее лежащего рядом сына? В комнате было темно, пришлось засветить свечу, чтоб увидеть кровь, древнюю кровь, которая навсегда покидала прославленный род, вытекая, вытекая из крошечной ранки уже беспамятного мальчика.

Кто находил в себе силу и удерживался от убийства? Кто в тот век не знал, что неотвратимо худшее? То и дело, встречая примеривающийся взгляд убийцы, вздрагивал кто-то. Запирался у себя, дописывал завещание и заказывал наконец носилки из ивовых веток, и монашескую сутану, и пепел для посыпания главы. Чужеземные менестрели собирались подле дворца, и он награждал их по-царски за их голоса, звучащие в лад его смутным предчувствиям. В глазах его собак стояло сомнение, и они без прежнего рвения выполняли его приказы. В девизах, имевших силу всю жизнь, все явственней делался проступ новых побочных смыслов. Давний обычай казался вдруг устарелым, и уже нечем было его заменить. Являлись замыслы, их хотелось осуществить. В них не верилось. Иные воспоминанья, напротив, обретали нежданную завершенность. Вечерами, у камелька, им хоте-

* Людовик Святой (1214—1270) — Людовик IX, король Франции.

** Гастон Феб, граф де Фуа (1331—1391) — крупный французский феодал.

лось предаться. Но стерегшая под окном ночь вдруг ударяла в уши. Уши, знававшие столько мирных и столько кровавых ночей, умели различать куски тишины. Но тут было другое. Не ночь, разделявшая вчера — и сегодня. Ночь. Ночь. Beau Sire Dieu* — и затем воскресение. Едва ли в такие часы могло достигнуть души восславление возлюбленной: все рядилось под канцоны и альбы, неузнаваемое под долгими, плещущими, пышными именами. Разве вдруг глянет из тьмы круглым женственным взглядом прижитого на стороне сына.

А потом, перед ужином,— задумчивое созерцание рук в умывальной серебряной чаше. Собственных рук. Зачем они? Только захватывать и выпускать? Без последствий, без продолженья? Да, хотели многие действовать и отчаивались. Действия не было.

Действа были лишь у монахов. Король, наглядевшись на представленья, сам пожаловал монахов охранною грамотой. Он называл их возлюбленной братией; никто не был так близок душе короля. Он просил их жить среди смертных, сохраняя верность изображенным характерам; ничего так не желал король, как того, чтобы они воспламеняли всех своим жаром и вовлекали в то бурное действие, где еще оставался порядок. Что до него самого, он хотел бы у них научиться. Разве не носит и он, как они, одежд, исполненных смысла? Глядя на них, он верил, что научиться можно: как ступать, уходить, как сказать, поклониться, чтобы выразить в точности то, что желаешь. Его сердце разрывалось от надежд. В окутанном пасмурной дымкой зале Троицына монастыря он ежедневно сидел на лучшем месте, вскакивал от возбуждения, спохватывался, как школяр. Другие плакали; он же сдерживал блестящие слезы и стискивал ледяные руки, чтобы снести зрелище. Иногда, в важных местах, когда отговоривший актер скрывался из его расширенных глаз, он запрокидывал голову и пугался: давно ли этот архангел Михаил приблизился к краю балкона в сверканье серебряных лат?

Вот в такую минуту он распрямился. Озирался, будто

* Добрый Господи Боже (франц.).

искал решения. Уже почти нашел, почти увидел противовес этому действию: великие, жуткие profane Passion*, в которых играл он одну из ролей. И тотчас все пропало. Двигались без цели и смысла. Надвигались факелы, взметывая спутанные тени к сводам, надвигались незнакомые. Он хотел играть. Ни звука не слетало с уст; движенья не превращались в жесты. Его странно теснили, он должен бы нести крест, показалось ему, и он хотел подождать, пока крест принесут. Но они были сильнее и постепенно оттеснили его.

Снаружи многое переменилось. Сам не знаю как. Но внутри, и перед Тобою, Господи, перед Тобою, Всевидящий, — разве мы действуем? Да, мы спохватываемся, что не знаем роли, мы ищем зеркала, чтобы стереть грим, смыть фальшь, стать собою. Но где-то налипло забытое притворство. Чуть-чуть чересчур вскинуты брови, невольно искривлен рот. Так и носит нас по свету — посмешища, ни то ни се: не в жизни, не на подмостках.

Это было в театре в Оранже. Даже не глянув наверх, но держа в воображеньи рустикальные обломки нынешнего фасада, я вошел через стеклянную дверцу привратника. Я очутился среди поверженных колонн, среди кустиков алтея; но они лишь на миг отгородили от меня уступчатые скамьи, запахнутые раковинной и подставленные деленью полуденных теней, словно огромные вогнутые солнечные часы. Я поспешил туда. Пробираясь по рядам, я сразу ощутил свое ничтожество. Выше неравными кучками грудились незнакомые зеваки. Наряды были неприятно тщательны, тогда как размеры делали всех не стоящими упоминанья. Меня окидывали взглядами, дивясь моей крошечности. Я поспешил вернуться.

Ох, вот уж к чему я не был готов! Шло действие. Разыгрывалась гигантская, сверхчеловеческая драма, драма могучей стены, поделенной отвесно натрое, грохочущей своею огромностью и вдруг умеряемой своею безмерностью.

* Букв. «мирские страсти» (франц.).

Я отдался блаженному потрясению. Передо мной из теней выступало лицо, посередине прорезанное ртом, сверху ограниченное и увенчанное кудрями карниза,— могучая, все заменяющая античная маска, весь мир сводившая к лицу. Здесь, в огромном амфитеатре, царило ждущее, пустое, всасывающее бытие. Все действие сосредоточилось там: боги и рок. А из-за них (если выше поднять глаза), из-за края стены выплывало вечное небо.

Этот час, я понимаю теперь, навсегда меня отлучил от наших театров. Что мне там делать? Что делать мне перед сценой, у которой снесли переднюю стену (иконостас русских церквей) оттого, что уже нет сил пропитывать ее действием, как газом, чтобы выступало на ней полновесными каплями. Наши пьесы выпадают хлопьями сквозь грубое сито сцены и валяются, пока их не выметут. Та же пошлая реальность, которой хватает повсюду, только здесь ее больше, чем вмещается в один вечер*.

(Будем уж откровенны. Театра у нас нет, как нет у нас Бога; тут нужна общность. У каждого свои мысли и страхи, и приоткрывает он их другим лишь по мере своей же потребности. Мы истончаем свою способность понимать, а надо бы звать об общей защитной стене, за которой успевает скопиться и сосредоточиться непостижимое.)

Будь у нас театр, вставала бы ты, трагическая**, снова и снова, легкая, обнаженная (без прикрытия), перед теми, кто тешит праздное любопытство зрелищем твоих мук? Тогда еще, в Вероне, почти ребенком, ты боялась, что сбудется твоя грусть, и держала перед лицом букет как самую надежную маску.

Правда, ты — из актерской семьи, и когда играли твои, они хотели, чтобы их увидели. В тебе же кончалось искусство. Для тебя оно было тем, чем для не ведавшей о том Ма-

* Написано на полях рукописи (*примечание Рильке*).

** Речь идет об Элеоноре Дузе (1859—1924), замечательной итальянской актрисе. Ей посвящено и стихотворение «Портрет» («Новых стихотворений вторая часть»).

рианны Алькофорато было призвание монахини, — плотный и прочный заслон, за которым можно быть безудержно несчастной, как страстно блаженны незримо блаженные. Во всех городах, где повидали тебя, описывали твои жесты; не понимая, как, отчаянней день ото дня, ты воображала, будто можешь за ними укрыться. Ты держала волосы, руки, все непрозрачное — перед просвечивающим лучом. Все прозрачное ты отуманивала дыханьем. Ты сжималась. Ты пряталась, как ребенок, играющий в прятки, и потом у тебя вырывался счастливый коротенький вскрик — кто посмел бы искать тебя? Разве что ангел. Но вот ты осторожно поднимала взгляд, и оказывалось, что на тебя давно уже смотрят — всем гадким, глазастым, пустым пространством — и на тебя, на тебя, на тебя!

И тебе хотелось заклинающе вытянуть руку, сложив пальцы, — от сглаза. Вырвать, не дать им свое лицо. Стать собой. Партнеры пугались, будто их заперли в клетке с пантерой, жались к кулисам, выговаривали положенное, только чтоб тебя не сердить. Но ты их вытягивала, расставляла, помещала в действительность. Бутафорские двери, обманные занавесы, сценические предметы без объема, без изнанки мешали тебе. Сердце рвалось на просторы правды, и, напуганная, ты опять вырывалась от этих взглядов, как из цепких ниток тенетника... А зал уже взрывался аплодисментами в ужасе перед крайностью — словно в последнюю минутку там хотели отогнать то, что бы вынудило переменить жизнь.

Жизнь любимых тяжела и опасна. Ах, если б они себя пересилили и сделались любящими. У любящих — надежная жизнь. Они уже вне подозрений и сами не могут себе изменить. В них исцеляется тайна, они выпевают ее целиком, как соловей, не дробя. Они плачут по одному-единственному; но вся природа им вторит: это плач по Вечному. Они кидаются вслед за утраченным, но уже с первых шагов обгоняют его, и перед ними — лишь Бог. И повторяется ска-

зание о Библиде*, преследовавшей Кавна до самой Ликии. Сердце гнало ее по его следу через многие страны, и вот она рухнула; но так силен был напор ее страсти, что по ту сторону смерти она забила потоком — бурлящая, как бурлящий поток.

А португалка? Разве не стала она тоже потоком? И ты, Элоиза? И все, все вы, чьи плачи до нас дошли: Гаспара Стампа, графиня де Диа** и Клара д'Андузе***, Луиза Лабелла****, Марселина Деборд*****, Элиза Меркёр*****. Но ты, бедная, мимолетная Аиссе*****, ты уже колебалась, сдавалась. Усталая Жюли Леспинас*****, Неутешная сага счастливых парков — Мари-Анн де Клермон*****.

Я и сейчас еще помню, как дома некогда в детстве вдруг увидел футляр. Он был в ладонь шириною, в форме веера, с цветочным тиснением на темно-зеленом сафьяне. Я открыл его. Футляр был пуст. Теперь, через долгие годы, я это могу утверждать. Но когда я открыл его, я увидел лишь то, из чего пустота состояла: бархат, взгорочек светлого, уже потерятого бархата, и бороздку для драгоценности, опустевшую, чуть высветленную печалью. Миг один приходилось мне

* Библида так плакала от неразделенной любви к Кавну, что обратилась в источник (см. Овидий. «Метаморфозы», кн. 9).

** Беатриса графиня де Диа (нач. XIII в.) любила трубадура Рамбаута III графа Ауренга и ему посвящала канцоны.

*** Клара д'Андузе — провансальская поэтесса XIII в.

**** Луиза Лабелла (1525—1566) — французская поэтесса. Рильке перевел ее 24 сонета, в которых она оплакивает разлуку с возлюбленным, как полагают, с поэтом Оливье де Маньи.

***** Марселина Деборд-Вальмор (1786—1859) — французская поэтесса, выразившая в стихах страстное чувство безответной любви.

***** Элиза Меркёр (1809—1835) — французская поэтесса.

***** «Письма мадемуазель Аиссе» были впервые опубликованы в 1787 г. Вопрос о том, подлинные ли это записки юной черкешенки («Мадемуазель Аиссе», 1695—1733) или искусная мистификация, не выяснен.

***** Жюли Леспинас (1732—1776) известна своими письмами к графу де Гильберу.

***** Мари-Анн де Клермон (1697—1741), рано похоронившая возлюбленного, изображена в романе мадам де Жанлис «Мадемуазель де Клермон» (1802).

выносить это. А для осиротевших любимых так, наверное, остается всегда.

Полистайте к началу свои дневники. Не правда ли — каждой весной бывала пора, когда брезжущий год вас обдавал упреком? В вас сидела еще жажда радости, вы выходили наружу, к раздавшимся далям, но замечали в воздухе отчужденье и уже спотыкались, шатались, будто на палубе. Начинался сад, но вы (да, вы сами) в него втаскивали зиму и минувший год; сад для вас превращался всего-навсего в их продолженье. Вы ждали, что душа вот-вот освоится с садом, но вдруг замечали тяжесть во всем теле; и что-то похожее на предвестье болезни прокрадывалось в ваши догадки. Вы это приписывали слишком легкой одежде, плотнее кутались в шаль, пробегали в конец аллеи. И там останавливались с колотящимся сердцем у широкого поворота, принуждая себя стать со всем заодно. Но пела птица, и была одинока, и от Вас отрекалась. Ах, неужто лучше было бы умереть?

Быть может. Быть может, в том-то и новость, что мы это выносим — год и любовь. Цветы и плоды опадают, когда созрели, звери помнят себя, льнут друг к другу и этим довольны. Мы же, имея в запасе Бога, мы всегда не готовы. Мы сдерживаем свою природу. Нам не хватает времени. Что нам год? Что все годы? Еще не подумав о Боге, мы уже молим: дай нам вынести ночь. И болезнь. И потом любовь.

А вот Клементина де Бурж* умерла в своем самом начале. Она, не имевшая равных; среди всех инструментов, на которых с детства играла,— прекраснейшая сама, в переливах незабытого голоса. Так полна она была юной решимости, что подруга посвятила ей книгу сонетов с неутоленною жаждой в каждом стихе. Луиза Лабе не побоялась спугнуть дитя долгими муками влюбленного сердца. Она ей открыла ночное нарастание страсти; обещала боль, как разросший-

* Клементина де Бурж, подруга Луизы Лабе, умерла от горя после того, как был убит во время религиозных распрей ее возлюбленный Жан дю Пейра.

ся мир; догадалась, что своим испытанным горем ей не тягаться со смутным прозреньем, сделавшим этого полу-ребенка прекрасным.

Девушки у меня на родине. Пусть прелестнейшая из вас как-нибудь летом в вечерующей библиотеке наткнется на книжицу, изданную Жаном де Турном* в 1556 году. И унесет гладкий прохладный томик в жужжание сада или подалее, к флоксам, где в воздухе вязнет отстоем избыток сладости. И пусть пораньше найдет. Когда глаза уже начинают себя сознавать, а рот еще слишком юн и в два счета сгрызает яблоко.

А когда придет время для трепетной дружбы, вы, девушки, по секрету подруг называйте Анактория, Дика, Эранна и Аттис**. И кто-то, скажем, сосед, пожилой господин, поколесивший по свету и давно почитаемый за чудака, пусть разгадает секрет. И станет зазывать вас к себе, соблазняя своими знаменитыми персиками и конями на ридингеровских гравюрах***, развешанных у него наверху, в белизне коридора, о которых столько говорено, что грех не взглянуть.

Быть может, вы уговорите его что-нибудь рассказать. Быть может, среди вас найдется такая, что убедит его принести старый дневник путешествий,— кто знает? Та самая, которая его заставит однажды признаться, что до нас дошли отдельные строчки Сафо, и не успокоится, покуда не выведает его тайну — что этот затворник баловался порою переводами вышеозначенных строк. Он объявит, что давно забросил свои опыты, что они не стоят упоминанья. И все же обрадуется, когда чистосердечные девушки будут его умолять прочитать хоть одну строфу. Он даже откопает греческий текст из недр своей памяти и продекламирует, потому что, как ему кажется, перевод никуда не годится, а он

* Жан де Турн (1504—1564) — лондонский печатник, издавший сонеты Луизы Лабе.

** Подруги Сафо.

*** Иоганн Элиас Ридингер (1698—1767) — немецкий художник.

хочет показать молодежи подлинный осколок драгоценного языка, выкованного на таком жаре.

Все это его вновь побуждает к работе. Для него настают прекрасные вечера, осенние вечера, например, чреватые долгой и тихой ночью. В кабинете поздно не гасится свет. Не всегда он склоняется к странице; бывает, он откидывается назад и смыкает глаза над сто раз прочитанной строчкой, и смысл ее растекается у него в крови. Никогда еще он так не понимал древности. Он был готов смеяться над поколениями, оплакивавшими ее, как утраченную пьесу, в которой им отводились роли. Вдруг до него доходит ошеломляющая значительность раннего мирового единства, словно разом вобравшего весь человеческий труд. Его не сбивает с толку, что взошедшая на этих дрожжах культура казалась следующим векам чем-то цельным и в этой цельности миновавшим. Правда, в то время небесная половина жизни пришлось как раз впору по земной чаше, как две полусферы вместе составляют золотой безупречный шар. Но едва это случилось, заключенным в нем духам эта полнота воплощения стала казаться метафорой. Тяжелое светило утратило вес и всплыло в пространстве, отражая на золоте сферы печаль всего, что еще оставалось вовне.

Покуда он так размышляет в одиночестве ночи, размышляет и постигает, он видит на подоконнике тарелку с фруктами. Невольно он берет яблоко и кладет перед собою на стол. Как моя жизнь окружает это яблоко, думает он. Над всем законченным встает неисполненное и растет.

Но вот над всем неисполненным поднимается перед ним легкий образ, стремящийся в бесконечность, образ той, которую (если верить Галену*) разумели все, говоря «позтесса». Ведь как за подвигами Геракла встает настойчивая потребность мира в сносе и перестройке, так все восторги и муки, которыми жизнь запаслась на века, рвались излиться через ее сердце.

Он тотчас узнает это смелое сердце, готовое до конца претерпеть любовь. Ему не странно, что оно оставалось

* Клавдий Гален (131—210) — знаменитый врач в Риме.

непонятым; что в этой любящей, обогнавшей время, видели лишь безмерность — не новую меру любви и кручины; что ее жизнь странно перетолковывали; что ее обвиняли в гибели тех, кого лишь Бог побуждал изливаться в любви без ответа. Быть может, даже среди любимых подруг иные не понимали: что на гребне судьбы она плакала не о тех, кто ее покидал, но о единственном, которого теперь уже и не чаяла дорастить до своей любви.

Тут задумавшийся встает и подходит к окну; комната тесна ему, жмет; ему бы хотелось взглянуть на звезды. Он на свой счет не обманывается. Он знает, что разволновался так оттого, что среди девушек по соседству одна его занимает. Он задумал желанье (не для себя самого, нет, для нее). Это из-за нее он задумался ночью о правах, которые предъясвляет любовь. Он ничего ей не скажет. Достаточно и того, что он один на один с ночью, не спит и думает, как права была та, любящая: когда поняла, что из союза двоих лишь растет одиночество; когда рвалась не к заветной черте, но мимо; когда ждала в темноте объятий, чтобы не утолялась, но нарывала тоска; когда презирала то соображение, что из двоих один должен быть любящим, другой любимым, и увлекала не умевших любить на свое ложе, и подпаляла, и делала любящими, которые ее покидали. В те высокие прощанья вложила она свое сердце. Она пела эпиталамы вечным возлюбленным; славилась свадьбы; величила жениха, чтоб они готовили себя для него, как для Бога, и даже такого его превзошли.

Еще раз, Абелона, недавно, я вспомнил тебя и понял тебя после стольких лет, когда совсем о тебе не думал.

Было это в Венеции, осенью, в одном из салонов, где иностранцы мимоездом собираются вокруг хозяйки, тоже иностранки. Они стоят, держа на весу чайные чашки, и радостно вздрагивают всякий раз, как осведомленный сосед украдкой кивает на дверь и вышептывает имя, звучащее по-венециански. Они готовы к самым причудливым именам, их не ошарашить ничем. Как бы ни был скромн их опыт,

в этом городе они с легким сердцем отдаются неслыханному. В повседневности они привыкли смешивать необычайное с запретным, а потому ожидание чудес, которое они себе вдруг позволяют, ложится на лица печатью распутства. Чувства, какие на родине лишь мгновеньями в них проступают — на концерте, за укромным чтением романа,— в здешней будоражащей обстановке они не стесняются выставлять напоказ. Точно так же, как, не подозревая опасности, они окунаются, как в порок, в почти смертельные волны музыки, так, не зная ничего о Венеции, отдаются они оплаченному колыханью гондол. Немолодые супружеские пары, которые все путешествие только и делали, что поддевали друг друга, молча вкушают согласие; муж ощущает приятное утомление от идеалов, она же сбрасывает с себя груз лет и бойко поглядывает на томных туземцев и улыбается без конца, будто зубы у нее сахарные и тают во рту. И если прислушаться, выяснится непременно, что завтра они уезжают, послезавтра, через неделю.

И вот я стоял среди них и радовался, что не уезжаю. Скоро похолодает. Нежная, наркотическая Венеция их притязаний и нужд исчезнет вместе с торжественными иностранцами, и как-то раз поутру здесь встанет другая, чуткая, до ломкости хрупкая, бдящая, не блазнящая. Заложенная на топях, силой вызванная к жизни и упрямо существующая Венеция. Закаленное, до крайности сжатое тело, сквозь которое бессонный арсенал гнал кровь трудов и все ширящийся дух — крепче всех ароматов Аравии. Убедительное государство, выменявшее соль и стекло своей бедности на клады народов. Прекрасный противовес миру, даже и в разукрашенности своей полный скрытой энергии. Такая Венеция.

Я вдруг почувствовал себя среди этих обманывающихся людей до того одиноким, что невольно поискал глазами, с кем бы поделиться моим знанием о Венеции. Неужто тут нет никого, кто жаждал бы, чтобы ему это все втолковали? Юноши, который тотчас бы понял, что здесь нам предложено не удовольствие, но пример воли, такой строгой и власт-

ной, какой больше не сыщешь на свете? Я томился. Меня распирала правда. Она требовала выхода, взывала о том, чтобы я ее высказал и отстоял. Лезла в голову несурезица, что вот, не выдержав недоразуменья, я хлопну в ладоши и потребую немедленной тишины.

Дойдя до этого смехотворного состояния, я вдруг увидел ее. Она стояла под слепящим окном и следила за мной, не столько глазами, задумчивыми и серьезными, сколько ртом, который иронически воспроизводил написанное на моем лице раздражение. Я тотчас ощутил глупую натянутость своих черт и напустил безразличие, после чего ее рот сразу стал естественным и гордым. Потом, по недолгом размышлении, мы одновременно улыбнулись друг другу.

Она мне напомнила, если хотите, один юный портрет прекрасной Бенедикты фон Квален, сыгравшей известную роль в жизни Баггесена*. Заглянув в спокойную темень этих глаз, нельзя было не догадаться о темных глубинах голоса. Прическа и вырез светлого платья были у нее вдобавок столь явственно копенгагенскими, что я решился к ней обратиться по-датски.

Но я не успел осуществить свое намерение. С дальнего конца залы на нее хлынула толпа. Наша гостеприимная графиня с шумной и пылкой невнимательностью, при поддержке гостей, требовала, чтобы она немедленно спела. Я был уверен, что девушка отговорится тем, что едва ли здесь кому интересно датское пение. Так она и сделала, когда ей дали открыть рот. Но на нее наседали все больше. Кому-то было известно, что она и по-немецки поет. «И по-итальянски», — не без коварства прибавил смеющийся голос. Я не мог придумать для нее больше ни одной отговорки, но был уверен, что она выстоит. Кислая оскорбленность уже разливалась по лицам, уставшим от долгих улыбок. Добрая графиня уже отступала с видом сожаления и достоинства, и тут, когда вовсе не надо было, она вдруг сдалась.

* Баггесен — см. прим. к стр. 144. Признавался в любви к Бенедикте фон Квален незадолго до и сразу после смерти жены, чем вызвал ее недоверие.

Я почувствовал, что бледнею от досады. Не в силах погасить в глазах упрек, я отвернулся — ей незачем было его видеть. Но она отделилась от остальных и оказалась рядом. Меня окатило сверканием ее платья, ее цветочным запахом и теплом.

— Я правда спою,— сказала она по-датски у самой моей щеки.— Не потому, что спрашивают, не приличия ради, просто сейчас мне надо петь.

В ее словах пробивалось то самое злое нетерпение, от которого она только что избавила меня.

Я потянулся со всеми следом за нею. Но застрял у высокой двери, давая другим войти и рассесться. Прислонясь к зеркально-черному косяку, я ждал. Кто-то спрашивал меня, что готовится, будут ли петь. Я сказал, что не знаю. Я еще бормотал свою ложь, а она уже пела.

Я ее не видел. Я услышал одну из тех итальянских песенок, которые иностранцам кажутся подлинными именно в силу своей совершенной искусственности. Певшая в нее не верила, с трудом ее вытягивала, как тяжесть. Об окончании я догадался по взорвавшимся впереди хлопкам. Мне было грустно и стыдно. Вокруг шевелились, вставали, и я решил уйти, едва кто-нибудь выйдет за дверь.

И вдруг стало тихо. Настала тишина, которой никто не ждал; она затягивалась, натягивалась, и вот ее рассек голос. (Абелона, подумал я, Абелона.) Сейчас он был сильный и полный, но без тяжести; весь из одного куска, без швов, без надрыва. Песня была незнакомая, немецкая. Она пела с особенной простотой, как подчинялась неизбежности.

Она пела:

Ты, о которой я плачу во сне
на бедной постели.

Ты, чье имя уснуло во мне,
как в колыбели.

Ты, что, припомнив меня в поздний час,
не спишь, быть может,—
не именуя это чудо, что нас
всегда тревожит,
пока мы живы!

Коротенькая пауза и — с сомнением:

Ты на влюбленных взгляни,
но не слушай, что скажут они:
слова их лживы.

Опять тишина. Бог знает, кто ее установил. Зашелестели, толклись, извинялись, кашляли. Уже готовились всё отменить в шуме, когда голос вдруг прорвался, решительный, сильный, настоящий:

Ради тебя я один. Тебя запомнил одну я.
Ты, как прибой, подступаешь, тихо волнуя
шумом и шелестом пен.
Многих я обнимал и многих утратил давно я.
Ты рождаешься вновь, ты навечно со мною.
Я не коснулся тебя, но взял тебя в плен*.

Этого не ждал никто. Все встали, склонясь под ее голосом. А в ней была к концу такая уверенность, словно она давно, годами, предвосхищала этот миг.

Я раньше часто спрашивал себя, отчего Абелона не обратила на Бога калорий своих огромных чувств? Знаю, она старалась лишить свою любовь переходности; но могло ли ее правдивое сердце не чувствовать, что Бог — лишь направление любви, не ее предмет? Разве она не знала, что здесь можно не бояться взаимности? Не угадывала сдержанности в высоком возлюбленном, который нарочно оттягивает страсть, чтобы дать нам, медленным, выложить все свое сердце? Или она избегала Христа? Боялась, что он, полюбив ее, задержит на подороге? Не оттого ли с такой неохотой думала она о Юлии Ревентлов?

Я почти в это верю, когда думаю, как любящие — простые, подобно Метхильде**, неистовые, подобно Терезе Авиль-

* «Песня Абелоны», перевод Г. Ратгауза.

** Метхильда фон Магдебург (1210—1282(83?)) изложила свои мистические откровения в книге «Струющийся свет божества».

ской*, израненные, подобно блаженной Розе Лимской**, отдавались посредству Христа, смирившиеся, но любимые. Ах! Он, помощник слабых, этим сильным оказывался не впрок: там, где они не ждали уже ничего, кроме бесконечного пути, в волнующем преддверии рая, встречается им сотворенный, балует уютным прибежищем и смущает мужским естеством. Мощная линза его сердца вновь собирает уже параллельные лучи их сердец, и те, кого ангелы надеялись доставить в целости к Богу, воспламеняются в засухе своей страсти.

(Быть любимым — значит сгорать. Любить — светить негасимой лампадой. Любимость — проходит. Любовь — длится.)***

Но в той же мере возможно, что Абелона последние годы загодя готовила свое сердце для незаметного и всечасного сообщения с Богом. Могу себе представить, что где-то лежат ее письма, внимательным самонаблюдением напоминающие об Амалии Голицыной****. Но если эти письма отсылались тому, кто годами был ей близок, как же должен он был страдать от ее перемены! Да и сама она, думаю, ничего она так не боялась, как таинственного перехода к инобытию, которому мы не верим, не замечая явственных предвестий и доказательств того, чего не принимает душа.

Меня трудно уверить, будто история Блудного сына — не повесть о ком-то, кто не хотел быть любимым. Когда он был ребенком, все в доме любили его. Так он рос, и не знал иного, и привык к их нежности, когда был ребенком.

Но подростком он решил все переменить. Он не мог бы этого объяснить на словах, но день целый где-то бродя, он не брал с собою даже собак, оттого что и они его любили; отто-

* Тереза Авильская (1515—1582) — католическая святая, автор философско-религиозных сочинений. Известна ее книга «Покой замка души».

** Роза Лимская (Исабель Флорес, 1586—1617) — перуанская мистическая проповедница. Причислена к лику святых.

*** Написано на полях рукописи (*примечание Рильке*).

**** Княгиня Амалия Голицына (1748—1806) — одна из образованнейших женщин своего времени. Поддерживала дружеские отношения с Гёте.

го что в их глазах стояло вниманье и участие, надежда и жалость; оттого что даже при них шагу не ступишь, не радуя и не печалю. А он одного хотел — безразличия сердца, и ранней ранью в полях оно иной раз на него находило, да так, что он кидался бегом, чтоб не дать себе ни спуска, ни времени сделаться чем-то иным, но остаться всего-навсего легким мгновеньем, помогающим утру очнуться.

Тайна еще непрожитой жизни расплывалась перед ним. Он невольно сворачивал с тропки и бежал напрямки, распростерши руки, будто захватывая побольше раздолья. А потом бросался наземь возле какой-нибудь изгороди, и никто его не замечал. Он выстругивал флейту, пускал камешком в белку, наклонялся над жуком, переворачивая его; все это ничуть не отдавало судьбой, и небо смотрело на него равнодушно, не выделяя среди природы. Потом наступал вечер, и приходили фантазии; он был флибустьером и высаживался на Тортугу, хоть никто его не неволил; он осаждал Кампече, завоевывал Веракрус; он бывал целой армией, полководцем на коне, кораблем в океане — чем угодно. А если хотелось пасть на колени, он тотчас оборачивался Деодатом Гозонским*, побивал дракона и, весь дрожа, постигал, что то подвиг гордости, не смиренья. Чем только он не бывал, и фантазия не истощалась, и всегда оставалось время на то, чтоб побыть попросту птичкой, неизвестно какой птичкой. И потом только он возвращался домой.

Бог ты мой! Сколько всего надо было забыть и отбросить! Забыть совершенно, иначе прознают. Как ни мешкай, как ни оглядывайся, всегда наконец поднимался навстречу родной щипец. Первое окошечко сверху на него уставлялось пристально: там кто-то стоял. Собаки, день целый сдерживавшие нетерпение, кидались к нему из кустов и тянули обратно, в ими созданный образ. Дом довершал остальное. Едва он вступал в его запах, все тотчас решалось. Мелочи могли меняться; в целом он сразу делался тем, за кого его здесь принимали; тем, для кого из коротенького его прошло-

* Деодат де Гозон — средневековый рыцарь, наказанный за то, что убил дракона вопреки запрету.

го и собственных своих устремлений они давно создали жизнь; существо по общей мерке, которое день и ночь одолевают любовью, надеждами и опасениями, укоризнами и хвалой.

С немислимыми предосторожностями всходит он на крыльцо — напрасно. Его уже ждут, и едва откроется дверь, все глаза повернутся к нему. Он остается во тьме; хочет избегнуть расспросов. Не тут-то было. Его берут за руки и тянут к столу, и все, сколько их тут ни есть, любопытно теснятся за лампой. Им хорошо — они остаются в тени, он один уличен ярким светом в том, что имеет лицо.

Что же делать — остаться, лгать приблизительной жизнью, которую ему навязали, всем лицом стать похожим на них? Рваться между хрупкой правдой своих желаний и грубым обманом, который ее же и отравляет? Стараться не ранить родных, у которых слабое сердце?

Нет. Уйти. Например, в день рожденья, когда они хлопочут у столика и расставляют там глупые подарки, чтобы все снова уравнять и загладить. Уйти — навсегда. И только много позже ему откроется, как истово хотел он тогда никого не любить, чтобы никого не ставить в страшное положение любимого. Годы спустя он поймет, но, как прочие наши намерения, и это окажется неосуществимым. Ведь он любил и опять любил в своей одинокости; всякий раз расточая всю душу и смертельно боясь за свободу другого. Долгое время прошло, пока он научился пронизывать лучами своих чувств любимый предмет, не подпаяя его. И устал от восторга, за все более прозрачными чертами возлюбленной узнавая дали, которые она открывала его ненасытной жажде.

Как он плакал ночами, как хотел, чтобы те же лучи пронизали его самого! Ведь отдающаяся любимая — вовсе еще не любящая. Безутешные, горькие ночи, когда расточаемые дары ему возвращались скупно, отягченные бесполезностью! Как он понимал трубадуров, которые больше всего боялись, что мольбы их будут услышаны! Все унаследованное и приумноженное богатство он стал отдавать, чтобы этого избежать. Он оскорблял грубой платой тех, кто, он боялся,

мог ответить ему на любовь. Он утратил надежду встретить любящую, которая проникнет в него.

Даже в то время, когда его осаждала нужда, когда его облюбовали беды, когда тело сотнями язв смотрело на черноту испытаний, когда он содрогался при виде помоев, куда толкали его оттого, что там ему место, даже тогда больше всего ужасало его, что ему могут ответить. Что эта тьма в сравнение с печалью объятий, в которых гибнет все? Когда просыпаешься, помня, что будущего — нет? Когда у тебя отнято право на опасность? Когда приходится клясться тысячу раз, что ты не умрешь? Быть может, упрямство злой памяти, не желавшей сдаваться, и удерживало в нем жизнь среди всей этой нечистоты. Наконец он был вновь обретен. И только тогда, в пастушеские годы, прошлое его унялось.

Кто опишет, что выпало ему на долю? У какого поэта достанет дара согласить те длинные дни с быстротечностью жизни? Какому искусству под силу начертать тонкий контур в плаще на высокой необъятности тех ночей?

В то время он начал чувствовать себя ничьим и всеобщим, как больной, не решающийся выздороветь. Он ничего не любил, он любил — быть. Тупая привязанность овец не тяготила его; как свет, просеянный сквозь облака, она тихо его обволакивала и бледно сияла в лугах. Следуя за ними безвинной тропой их голода, он молча шел по пажитям мира. Его видели в Акрополе; и, быть может, он долго был пастухом в Бо* и видел, как окаменелое время придавило высокий род, тройками и семерками тщетно противоборствовавший шестнадцати лучам своей звезды**. Но не лучше ли вообразить его в Оранже, подле рустической триумфальной арки? Или в кишасей душами тени Елисейских полей***, где, стоя среди гробов, разверстых как

* Бо — древний разрушенный город недалеко от Арля.

** На гербе древнего рода Де Бо изображена Вифлеемская звезда о шестнадцати лучах. Считая число шестнадцать несчастливым, они заменяли число лучей на три и семь (Рильке так поясняет это место в одном из писем.)

*** Кладбище подле Арля с открытыми саркофагами.

в Судный день, он следит глазами за стрекозой? Все равно! Я вижу не просто его, я вижу его судьбу, его вступление в долгую любовь к Богу — тихий, бесцельный труд. Опять его, решившего впредь вечно сдерживаться, одолело сердце, упрямо не желавшее быть другим. И на этот раз он надеялся на отклик. Душа, за долгие дни одиночества научившаяся угадывать и не ошибаться, твердила ему, что тот, кого теперь он избрал, умеет любить проникающей, высветляющей любовью. Но покуда он мечтал, чтобы его полюбили так совершенно, чувству его, знакомому с далями, открывалась бесконечная дальность Бога. Были ночи, когда ему хотелось броситься к Нему сквозь пространства; часы озарений, когда казалось — стоит ринуться в землю, и он увлечет ее бурлящим потоком сердца. Он словно слышал прекрасный язык и судорожно принимался слагать на нем стихи. И обнаруживал с горечью, как язык этот труден. Не хотелось верить, что долгая жизнь должна уйти на то, чтоб складывать глупые фразы бессмысленных упражнений. Он кидался в ученье, как бегун кидается в запуск; но непроницаемость изучаемого заставляла замедлить шаг. Не было ничего унижительней этого ученичества. Он нашел философский камень, а его заставляли чудесно изготавливаемое золото счастья непрестанно вновь превращать в тяжкий свинец терпенья. Он, одолевший пространство, как червяк, ползал по узким ходам без направленья и выхода. С таким трудом и печалью он учился любить, а ему доказывали, как мелки и ничтожны были все любви, которые он сочинял до сих пор, как любовь ни на что не годна, покуда ее не сделаешь деятельной. В эти годы в нем совершалась важная перемена. Он почти забыл о Боге за тяжким трудом приближенья к нему, и, кажется, ему от Него было уже нужно одно: “*sa patience de supporter une âme*”*. Непредвиденности судьбы, к которым так тянет людей, давным-давно ему сделались чужды, теперь же даже радость и боль для него утратили пряный привкус и стали попросту пищей. Из его корней пробился упрямый, вечнозеленый росток плодоносной

* терпенье, с каким Он поддерживает душу (франц.).

радости. Он занялся заточенной в нем жизнью, стараясь ничего не упустить, ведь во всем пребывала и прибывала любовь. Он набрался духу наверстать то, чего не осуществил, что проскочил, переждал когда-то. Больше всего он думал о детстве, которое, чем спокойнее он рассуждал, представлялось ему незаконченной; воспоминания были смутны, как предвосхищенья, и, не закрепляясь в прошлом, соскальзывали в будущее. И для того, чтобы снова и по-настоящему все принять, он, отчужденный, вернулся домой. Мы не знаем, остался ли он; знаем только, что он вернулся.

На этом месте рассказчики пытаются нам напомнить про дом, каким он был тогда; прошло ведь немного времени, легко сосчитать, все в доме могут сказать — сколько. Собаки состарились, но еще живы, упоминается, что одна собака завыла. Отброшены все дневные заботы. Из окон высываются лица, постаревшие, повзрослевшие лица, трогательно похожие. И на одном лице, совсем старом лице, вдруг бледно пробивается узнавание. Узнавание? Только ли оно? Прощенье. Какое прощенье? Любовь. Господи боже — любовь.

Он, узанный, он, поглощенный своими раздумьями, про нее и забыл. Легко понять, почему из всего, что происходило потом, нам передают лишь одно: жест, жест, какого еще не видывали, заклинающий жест, с каким он кидается к их ногам, моля, чтобы его не любили. Испуганные, растерянные, они поднимают его. По-своему объясняют его порыв. Прощают. Какое, верно, было для него облегчение, что его не поняли, несмотря на отчаянную однозначность этого жеста. Быть может, он даже остался. Ведь ото дня ко дню ему становилось ясней, что любовь, которая была для них так важна, на которую они втайне подбивали друг друга, обращалась вовсе не на него. Его, верно, забавляли их потуги, и было очевидно, как мало они о нем думают.

Что знали они о нем? Его стало бесконечно трудно любить, он чувствовал, что это под силу лишь Одному. Но Он пока не хотел.

Конец записок.

Победивший дракона

Была когда-то земля — с лесами, полями, реками, дорогами и городами, земля прекрасная и плодородная. И был над нею поставлен богом король, самый седовласый и самый гордый из всех королей, о которых когда-либо ходили по свету достоверные слухи. У короля была единственная дочь — сама юность, красота и порыв. Король был в родстве со всеми соседними тронами, а дочь его была еще ребенок и совсем одна, почти как сирота. И это, конечно, ее нежность, и доброта, и власть, заключенная в спокойном безмятежном взоре, были невольной причиной того, что, чем взрослее и краше становилась она, тем все ближе подкрадывался к ней дракон, пока живым воплощением ужаса не обосновался в лесу перед самым красивым городом королевства; ибо существует скрытая связь между ужасом и красотой, и где-то они дополняют друг друга, как ликующий смех жизни и затаившаяся близкая смерть.

Мы не хотим этим сказать, что дракон питал к юной особе какие-то враждебные чувства,— как едва ли кто с чистой совестью решится утверждать, что смерть так уж глубоко враждебна жизни. Вполне возможно, что этот огромный огнедышащий зверь улегся бы, как собачонка, у ног красавицы, и только мерзость собственного языка не позволила бы ему в зверином самоуничижении лизнуть прекраснейшую в мире руку. Но до этого его, естественно, и не допускали, тем более что дракон безжалостно расправлялся со всеми, кто случайно оказывался поблизости, хватал и оставлял у себя всех, не делая исключений ни для детей, ни для отар.

Первое время король, надо думать, с глубоким удовлетворением отмечал про себя, что эта напасть сделала многих юношей его страны мужчинами. Молодые смельчаки всех сословий — рыцари, послушники и простые слуги — потя-

нулись на битву, как в долгий поход в чужую страну, принимали жаркую славу и муку одного-единственного героического часа, вкусив жизни и смерти, надежды и страха сразу, — как во сне. Уже через несколько недель люди перестали вести счет этим храбрецам и запечатлевать в своей памяти их имена — потому что в такие тревожные дни народ привыкает даже к героям и они уже не кажутся чем-то неслыханным. Страх, голод, жажда тысяч людей взыскуют их, и они приходят как неизбежный рок, как хлеб наш насущный, повинувшись тем последним законам, которые не перестают действовать даже в минуту всеобщего горя.

Но число тех, кто жертвовал собою в отчаянном этом бою, все росло и росло, уже почти в каждой семье пал лучший сын (и зачастую совсем еще мальчик) — и тогда король не без оснований начал опасаться, что погибнут все первенцы его королевства и слишком многим дочерям будет уготовано вдовствующее девичество на долгие годы бездетной женской доли. И он запретил своим подданным продолжать борьбу. А чужеземным купцам, в безотчетном ужасе хлынувшим из зачумленной страны, он повелел возвестить то, что испокон веков возвещали короли в его положении: что если кому-то удастся избавить от этой гибели несчастную страну, он получит руку королевской дочери, будь он знатным дворянином или сыном презренного палача.

И оказалось, что и на чужбине не занимать стать героев и что соблазн высокой награды возымел свое действие. Но чужеземцам везло не больше, чем землякам королевны: они приходили только затем, чтобы умереть.

Между тем в королевне за эти дни произошла видимая перемена; если до сих пор ее сердце, подавленное печалью и злосчастным роком своей страны, молило о гибели чудовища, то теперь, когда она была обещана какому-то могучему незнакомцу, ее неискушенная душа прониклась странным расположением к супостату, к дракону, и дело дошло до того, что в неподкупной искренности своих сновидений она вдруг стала находить слова, чтобы молиться за него и про-

сить святых заступниц взять чудовище под свою защиту.

Когда она однажды утром, сгорая от стыда, очнулась от одного такого сна, до нее дошла весть, ее испугавшая и смутившая. Ей рассказали о юноше, который пришел на битву бог весть откуда и которому удалось — хоть он и не убил дракона — окровавленным и израненным вырваться из лап своего страшного соперника и спрятаться в лесной чаще. Там он лежал, бездыханный, холодный в холодных своих доспехах, пока его не нашли и не принесли в один из домов, где он метался в бреду, и жаркая кровь бешено билась под пылающими бинтами.

Когда королевна услышала эту весть, ее первым желанием было броситься на улицу в чем была — в белой рубашке из тонкого шелка, — разыскать тот дом и припасть к ложу умирающего. Но когда девушки одели ее и она увидела в бесчисленных зеркалах свое роскошное платье и свое печальное лицо, она не нашла в себе мужества совершить столь необычный поступок. Она даже не решилась послать в дом, где лежал больной чужеземец, какую-нибудь верную служанку, чтобы хоть чем-то облегчить его страдания — клочком тонкого полотна или мягкой мазью.

Но какая-то тревога осталась в ее душе, и она почти захворала. С наступлением ночи она садилась у окна и все пыталась угадать, в котором из домов умирал незнакомец. Что он умирал, ей было совершенно ясно. Ведь только она, она одна могла его спасти, но ей не хватало смелости навестить его. Отныне мысль, что в ее руках жизнь раненого героя, не покидала ее. В конце концов на третьи сутки, проведенные в такой же муке и самобичевании, эта мысль погнала ее на улицу, в дождь, в непроглядную, тревожную весеннюю ночь, и она блуждала в ней как в темной комнате. Она не представляла себе, как она опознает тот дом; но она сразу узнала его по одинокому распахнутому окну, освещенному изнутри странным медленным светом, при котором ни спать, ни читать невозможно. И она, опустив голову, сникшая и несчастная, прошла мимо дома, подавленная первым в ее жизни горем. Так она шла и шла; дождь перестал;

над разорванными полосами облаков засверкали редкие крупные звезды, и где-то в саду запел соловей и никак не мог закончить начало куплета. Он растерянно начинал снова и снова, и голос его могуче и властно разрастался в тиши, как голос гигантской птицы, свившей себе гнездо на вершинах девяти дубов.

Когда королева оторвала наконец полные слез глаза от бесконечной своей дороги, она увидела перед собой лес и над ним розовую полосу утра. И на этой полосе выделялось что-то черное, двигавшееся прямо на нее. То был всадник. Она невольно отпрянула назад и спряталась за темными влажными кустами. Всадник медленно проехал мимо нее; лошадь его была черна от пота и дрожала. И он сам как будто дрожал: все кольца на чешуе его железного панциря тихо позванивали. На голове у него не было шлема, не было рукавиц на руках, и меч свисал тяжело и устало. Она разглядела его лицо в профиль; оно все пылало, и волосы развевались по ветру.

Она смотрела вслед ему, долго. Она поняла: он убил дракона. И ее печали вдруг как не бывало. Она уже не была одинокой заблудившейся девочкой в ночи. Она принадлежала ему, этому незнакомому дрожащему герою, она была его достоянием — будто родной сестрою его меча.

И она заторопилась домой, чтобы там ожидать его. Никем не замеченная, проскользнула она в свои покои и, как только подошло время, разбудила всех горничных и велела принести свои самые красивые наряды. Пока ее одевали, город проснулся, охваченный всеобщим ликованием. Люди радостно выбегали на улицу, на башнях взахлеб били колокола. И тогда королева, слушая всю эту суматоху, вдруг поняла, что он не придет. Она пыталась представить его себе в громовом прибое людской благодарности — и не смогла. С каким-то боязливым чувством она пыталась удержать в памяти образ одинокого дрожащего героя — такого, каким она его видела, — как будто важнее всего на свете было не забыть этот образ. И при этом так празднично было у нее на душе, что, хоть она и была уверена, что никто не придет,

она не прерывала девушек, ее наряжавших. А те вплетали ей в косы смарагды и жемчуг и удивлялись, что такими влажными были эти косы на ощупь. Наконец королева была готова. Она улыбнулась девушкам и, побледнев, пошла вдоль зеркальных стен, и белый шлейф ее платья шумел далеко за нею.

А престарелый король сидел, серьезный и величественный, в высокой тронной зале. Вокруг него стояли во всем блеске старейшие палатины королевства. Он ждал чужеземного героя, ждал избавителя.

Но тот был уже далеко-далеко, и над ним было небо, полное жаворонков. Если бы кто-нибудь напомнил ему о награде за подвиг, он, может быть, рассмеялся бы и повернул назад: он просто об этом забыл.

Пьер Дюмон

Локомотив пронзил почти бесконечным свистком голубой воздух душного, мерцающего светом августовского полдня. Пьер сидел со своей матерью в купе второго класса. Мать была женщиной невысокой, подвижной, в скромном черном суконном платье, с бледным добрым лицом и угасшими, тусклыми глазами — вдовой офицера. Ее сын — малыш, никак не старше одиннадцати лет, в мундире воспитанника военной школы.

— Вот и приехали,— сказал Пьер громко и радостно, вынимая свой скромный серый чемоданчик из дорожной сетки. Большими, застывшими, казенными буквами там было начертано: «*Пьер Дюмон I*. Призывной возраст № 20». Мать молча опустила глаза. Теперь перед ее взором возникли эти большие своенравные буквы, пока мальчуган ставил багаж на соседнее сиденье. Она перечитывала их, наверное, раз сто за долгие часы путешествия. И она вздохнула. Она была не сентиментальна и за годы супружества с покойным капитаном познакомилась с солдатской жизнью и привыкла к ней. Но ее материнская гордость страдала оттого, что ее Пьер, маленькая особа которого занимала совсем особое место в ее сердце, был низведен до уровня простой цифры «№ 20». Как это звучало!

Тем временем Пьер стоял у окна и созерцал природу. Они подъезжали к станции. Поезд шел медленнее и громыхал на стрелках. За окнами мелькали зеленые насыпи, просторные равнины и крошечные домики, у дверей которых стояли на страже громадные подсолнухи в желтых нимбах. Двери были так малы, что Пьер подумал, что он нагнется, если захочет войти. Но домики уже скрылись. Виднелись черные, продымленные склады со своими зарешеченными слепыми окнами, полотно дороги все ширилось, рельсы росли рядом с рельсами, и вот наконец они с шумом и ши-

пеньем въехали в вокзальное здание маленького городка.

— Сегодня мы еще будем всюду веселиться, мама,— прошептал малыш и обнял испуганную мать бурно и пылко. Потом он вытащил чемодан из дорожной сетки и помог своей матушке выйти из вагона. С гордым видом он взял ее под руку, но госпожа Дюмон, хотя она и была невысокого роста, смогла лишь просунуть своему кавалеру руку под мышку. Носильщик завладел чемоданом. Так они шли в знойный полдень по пыльной улице к гостинице.

— Что мы будем кушать, мама?

— Что хочешь, милый!

И тут Пьер начал перечислять свои любимые блюда, которыми его кормили дома во время двухмесячных каникул. Можно ли будет заказать то-то и то-то? И с лукулловской точностью обсуждалось все, от супа до яблочного пирожного с кремом. Маленький солдат был настроен шуточно; все эти любимые блюда, казалось, и составляли содержание его жизни. Словно на этой основе и возникали все остальные события. И он начинал снова и снова: «Помнишь, когда мы в последний раз ели то-то и то-то, случилось то-то и то-то». Правда, ему приходило в голову, что он сегодня в последний раз будет наслаждаться всем этим перед четырехмесячной учебой, и тогда он умолкал и почти неприметно вздыхал. Но веселый, солнечный летний день бодрил детскую душу, и Пьер снова отважно болтал обо всем на свете и вспоминал о чудесных днях уходящего отпуска. Было два часа дня. К семи он должен был явиться в казарму, стало быть, через пять часов. Пять раз должна была большая стрелка обежать циферблат — осталось еще много, много времени.

Обед кончился, Пьер ел с аппетитом. Но когда мать наливала ему красного вина, и поднимала стакан, и с особым значением глядела на сына влажными глазами, у него кусок застревал в горле. Его взор блуждал по комнате. Он помедлил на циферблате; было три часа. Четыре раза большая стрелка... — так думал он. Это ему придавало мужества. Он поднял свой бокал и чокнулся, быть может, слишком звонко: «За радостное свиданье, матушка!» Его голос



Рильке с женой Кларой Рильке-Вестхоф в 1901 году

изменился и посуровел. И он быстро поцеловал, как бы боясь вновь поддаться слабости, маленькую женщину в бледный лоб.

После обеда они бродили вдвоем по берегу реки. Им почти не встречались прохожие. Никто не мешал им говорить друг с другом. Но разговор часто прерывался. Пьер высоко держал голову, не вынимая рук из карманов, и рассеянно смотрел большими голубыми глазами на мерцавшую от зноя реку и на фиолетовые склоны другого берега. Госпожа Дюмон заметила, что в аллее, по которой они шли, листья все желтели и увядали. Кое-где они даже падали на тропинку, когда один листок хрустнул у нее под ногой, она испугалась.

— Близится осень,— тихо сказала она.

— Да,— пробормотал Пьер сквозь зубы.

— Но мы чудесно провели лето,— продолжала госпожа Дюмон почти смущенно.

Ее сын ничего не ответил.

— Мама,— не обернувшись к ней, промолвил он,— передай милой Жюли мои приветы, хорошо? — Он умолк и покраснел.

Мать улыбнулась.

— Об этом можешь не беспокоиться, мой Пьер.

Жюли была юная кузина, к которой маленький кавалер был равнодушен. Он часто гулял у нее под окном, играл с нею в мяч, дарил ей цветы и носил — чего не знала даже госпожа Дюмон — фото кузины в левом нагрудном кармане мундира.

— Жюли тоже уедет из дома,— сказала мать, радуясь, что удалось завести разговор с сыном на эту тему.— Ее пошлют в английскую школу или в *Sacre-coeur*...— Вдова знала своего Пьера. Его утешало, что и той, которую он обожал, сужден подобный жребий, и в глубине души он упрекал себя за свое малодушие. С ребяческой живостью фантазии он уже готов был забыть о долгих месяцах учебы.

— Но когда я приеду домой на рождество, ведь Жюли вернется?!

— Конечно.

— И ты пригласишь ее к нам, дорогая мамочка, на рождество, правда?

— Она уже дала согласие и обещала мне, что загодя отпросится у своей матери.

— Чудесно! — ликовал мальчик, и глаза его сияли.

— Я красиво уберу тебе елку, и если ты будешь хорошо себя вести...

— Обещаешь... новый мундир?

— Кто знает, кто знает, — улыбалась госпожа Дюмон.

— Дорогая мамочка! — воскликнул юный герой и, не стесняясь, стал прямо на аллее осыпать госпожу Дюмон бурными поцелуями, — ты такая добрая!..

— Но только веди себя хорошо, Пьер, — сказала мать серьезно.

— И еще как! Буду учиться...

— С математикой, как ты знаешь, у тебя дела неважные.

— ...Все будет отлично, вот увидишь!

— И не простужайся, скоро погода станет холоднее, всегда тепло одевайся... Ночью укрывайся одеялом как следует, чтобы не раскрываться!

— Не волнуйся, не волнуйся!

И Пьер снова начал вспоминать об отпуске. Ему приходили на ум такие шутки и забавы, что мать и сын смеялись от всего сердца. Вдруг он вздрогнул. С церковной башни хлынул гулкой колокольный звон.

— Пробило шесть, — сказал он и попытался улыбнуться.

— Пойдем к кондитеру.

— Да, там продают вкусные трубочки с кремом. В последний раз я их ел, когда мы ездили за город с Жюли...

Пьер сидел на тонконогом складном стульчике в сводчатой комнате кондитера и уписывал сладкое за обе щеки. Вообще-то он был уже сыт и иногда, проглотив кусок, должен был глубоко вздохнуть, но ведь он придет сюда не скоро, и вот он опять ел.

— Меня радует, что у тебя, малыш, хороший аппетит,— сказала госпожа Дюмон, прихлебывая кофе из чашечки.

Пьер все ел и ел.

Вдруг на башне пробили часы.

— Полседьмого,— пробормотал отпускник и вздохнул. Его желудок был страшно переполнен. Теперь надо идти в казармы...

И они пошли. Был теплый августовский вечер, в деревьях аллеи шелестел приятный ветерок.

— Тебе не холодно, мама? — бездумно спросил малыш.

— Не беспокойся, дорогой.

— А что будет с Белли?

Белли был маленький пинчер.

— Я наказала горничной ходить за ним, она дает ему вкусно поесть и водит гулять...

— Передай Белли привет от меня, пусть он ведет себя хорошо...— Он пытался шутить, но голос его прерывался.

— Ты ничего не забыл, Пьер? — Вдали уже возник серый, однообразный фасад казармы.— Твой сертификат?

— Не забыл, мама.

— Ты должен еще сегодня доложить о прибытии?

— Да, сразу же.

— А завтра ты уже опять учишься?

— Да!

— И ты напишешь мне?

— И ты тоже, мамочка, прошу тебя! Сразу же как вернешься.

— Конечно, милый.

— Я думаю, письмо идет дня два.

Мать не могла отвечать; у нее перехватило горло от волнения. Они стояли прямо перед подъездом.

— Благодарю тебя, мама, за чудесный день.— Бедному мальчику было плохо; видимо, он съел слишком много. Он чувствовал сильные боли в желудке, ноги дрожали.

— Ты бледен,— сказала госпожа Дюмон.

— Да нет.— Это была жалкая ложь. Он это знал.

Как кружилась голова! Он с трудом удержался на ногах.

— Мне и в самом деле...— Пробыло семы!

Они обнялись и заплакали.

— Дитя мое,— всхлипывала бедная женщина.

— Мама, через сто двадцать дней...

— Веди себя хорошо, будь здоров...— И дрожащей рукой она осенила малыша крестным знамением.

Но Пьер вырвался.

— Мама, мне надо бежать, а то меня накажут,— забормотал он.—...Пиши мне, мама, береги Жюли и Белли.— Последний поцелуй, и он исчез.

У ворот он еще раз оглянулся. Он увидел среди сумрачных деревьев маленькую черную фигурку и быстро проглотил слезы.

И все же ему было очень худо. Он неверными шагами вошел в просторный вестибюль... он так устал...

— Дюмон! — крикнул грубый голос.

Перед ним стоял унтер-офицер из караула.

— Дюмон! Черт побери, разве вы не знаете, что вы должны были доложить о прибытии?

Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке

...24 ноября 1663 года Отто фон Рильке, владелец имения Лангенау (Гренитца и Цигры), введен во владение долей в имении Линда, прежде принадлежавшем брату его Кристофу, павшему в Венгрии, однако при том условии, что он отказывается от всех и всяческих прав на означенную долю в случае, ежели брат его Кристоф (павший в чине корнета в эскадроне барона фон Пировано его импер. велич. австр. гейстерского кавалерийского полка, что прилагаемым свидетельством о смерти удостоверяется) воротится в указанное имение...

В седле, в седле, в седле, день и ночь в седле, день и ночь.
В седле, в седле, в седле.

И остыла отвага, и тоска разрослась. И гор больше нет, и почти уже нет деревьев. Все от страха боится подняться. Чужие домишки жадно припали к иссохшим колодцам. Ни колокольни нигде. Ничего. Глаза проглядишь. Только ночью иногда вдруг покажется, будто знаешь дорогу. Что, если ночью мы проходим обратно тот путь, который отвоевали за день у чужого нам солнца? Может статься. Солнце здесь тяжкое, как у нас в самое летнее пекло. Но ведь летом мы отбывали. Женские платья долго сияли на зеленой траве. И мы давно уж в седле. Значит, сейчас уже осень. Да, там уже осень, конечно, где нас помнят грустные женщины.

Фон Лангенау трясется в седле. Он говорит:

— Маркиз...

Рядом маленький тонкий француз, сперва он три дня напролет болтал и смеялся. Теперь он умолк. Он как ребенок, которому хочется спать. Белое кружево на воротнике

у француза все в пыли; он ее не замечает. Он вянет, вянет на своем бархатном седле.

Но фон Лангенау ему улыбается:

— У вас удивительные глаза, маркиз. Вы, верно, похожи на мать...

И снова расцветает маленький француз и стряхивает пыль с воротника, и снова он свеж.

Кто-то рассказывает о своей матери. Немец, конечно. Медленно, четко он ставит слова. Так девушка, плетя венок, подбирает цветок к цветку и еще не знает, что выйдет. Так и он подбирает слова. Что сплетется? Печаль? Или радость? Все затаились. Даже сглотнуть боятся. Тут настоящие господа, уж они-то умеют слушать. А те, кто не знает по-немецки, вдруг разбирают слова, вдруг ощущают на вкус: «Вечером...», «...Я был еще маленький...»

И они породнились, господа из Бургундии, Франции, из Голландии, посланцы от долов Каринтии, замков Богемии, от кайзера Леопольда. Ведь то, что рассказывает один, было с ними со всеми и в точности так же. Словно на свете одна только мать.

Кони вступают в ночь, в начало неведомой ночи. Все снова молчат, но с ними светлое слово. И вот маркиз снимает шлем. Волосы у него легкие, темные, и когда он склоняет голову, они льнут к щекам нежно, как у женщины. И Лангенау тоже видит: что-то встает вдалеке, стройное, темное. И сияет. Один, одинокий, ветхий столбец. И уже миновал его, много позже, вдруг понял, что это была Мадонна.

Бивачный костер. Все сели вокруг и ждут. Ждут, чтоб кто-то завел песню. Но все так устали. Красный огонь тяжел. Он падает на пыльные сапоги, всползает по ногам, поглядывает под бессильно забытые на коленях ладони. Он бескрыл. И оттого лица — темны. Но вот засветились впотьмах глаза маленького француза. Он поцеловал ма-

ленькую розу и спрятал опять. Пусть вянет дальше у него на груди. Фон Лангенау все видел, потому что ему не спалось. Он думает: «А у меня нет розы, нет у меня розы». И тогда фон Лангенау заводит песню. Это старая грустная песня. Ее поют наши девушки в поле осенью, под конец жатвы.

Говорит маленький француз:

— Вы ведь еще совсем молодой, не правда ли?

И Лангенау ему, то ли с вызовом, то ли с печалью:

— Восемнадцать лет...

И оба молчат.

Потом француз спрашивает:

— Вы тоже оставили дома невесту, юнкер?

— А вы? — отвечает вопросом фон Лангенау.

— У ней волосы светлые, как у вас.

И снова оба молчат, и немец кричит наконец:

— Так какого же черта трястись в седле по этой мерзкой земле навстречу турецким псам?

И маркиз улыбается:

— Чтоб воротиться.

А Лангенау грустно. Он вспоминает светловолосую девушку, с которой играл. Буйные игры. Домой бы, домой, хоть на минутку, чтоб только успеть сказать ей: «Ты прости мне, Магдалена, что я всегда был такой».

«Почему — был?» — думает он.

Но они далеко.

И вот на рассвете — навстречу конник и еще, и уже их четверо, десять. Огромные, в латах. А потом целая тысяча — войско.

Дальше им — порознь.

— Счастливый путь, желаю вам воротиться, маркиз.

— Храни вас Пресвятая дева, юнкер.

Но им нельзя разлучиться, они друзья, они братья. Им еще столько надо поведать друг другу, они уже столько друг другу сказали. Медлят. И стук копыт и спешка вокруг. И тогда маркиз срывает слишком большую перчатку с пра-



Рильке на военной службе. Вена. 1906 год

вой руки. Вынимает ту розу, обрывает с нее лепесток. Так ломают просфору.

— Она защитит вас. Прощайте.

Фон Лангенау оторопел. Долго смотрит он вслед французу. Потом он сует под мундир чужой лепесток. И вот уже лепесток колышут, качают волны сердца. Трубят. Юнкер прищпоривает коня. Война зовет. Он усмехается горько: чужая женщина его хранит.

День целый — обозы. Пестрь, ругань, смех — слепнет земля. Мальчишки носятся. Дерутся, орут. Карминно-красные шляпки торчат на реюющих волосах шлюх. Шлюхи мигают зазывно. Солдаты ступают черно-чугунно, как бредущая ночь. Хватают девок, срывают с них платья. Валят их прямо на барабаны. Борьба и неистовство рук будят бой барабанов, и он гулок со сна, он гулок. А вечером, вечером ему подносят огни, странные огни: будто вино светится в касках. Вино? Или кровь? Кто различит...

Но вот и Шпорк. Рядом с белым своим скакуном висится граф. Длинные волосы графа отливают латным железом.

Фон Лангенау ни о чем не спросил. Он узнает генерала, он соскакивает с коня и склоняется перед генералом в поклоне, в облаке пыли. Он достает из-за пазухи бумагу — рекомендательное письмо. Но граф приказывает:

— Читайте сами эту писанину.

Губы даже не шевельнулись. Излишне. Заране сложены для презренья. Все прочее доскажет десница. Довольно, точка — вот ее знак. Юнкер давно уже кончил читать. Он забыл, где стоит. Все заслоняет Шпорк. Даже небо исчезло. И тогда говорит Шпорк, великий генерал:

— Корнет.

И это — много.

Эскадрон лежит за Рабой. Фон Лангенау скачет, один. Поле. Вечер. Впереди, под седлом, сверкают копыта в пыли. Потом встает месяц. Он высветил руки корнета.

Корнета клонит в сон.
Вдруг откуда-то крик.
В тот же миг
разрывается сон.
Нет. Не кычет сова. Впереди
одинокое дерево: Освободи!

И он видит: там вздыблено что-то. Вздыблено тело, юное
женское тело,
голое, все в крови,
молит — веревки порви!

И он прыгает в черную зелень,
он рубит горячие путы,
и горит ее взор.
И оскалены зубы.

Неужто смеется?
В седло. Мчать.
В сердце ударил страх.
Но кулак с кровавой веревкой он не смеет разжать.

Фон Лангенау задумался. Он пишет письмо. Медленно
он выводит большими буквами, строгими и прямыми:
«Дорогая матушка,
гордитесь: я несу знамя,
не тревожьтесь: я несу знамя,
любите меня: я несу знамя».

Потом он прячет письмо под мундир, в сокровенное
место, туда, где лежит уже розовый лепесток. Он думает:
скоро оно тоже будет пахнуть розой. И думает: быть может,
кто-то найдет его... И думает: ведь враг уже близко...

Кони топчут убитого крестьянина. Глаза у крестьянина
распахнуты, и в них отражается что-то; нет, это не небо.
Потом воют собаки. Значит, скоро наконец-то жилье. Над
домишками каменно высится замок. Широко перед ним
стелется мост. Просторны ворота. Пронзителен рог. Чу!
Крики, звон и собачий лай! Кони ржут, и копыта гремят.

Отдохнуть! Погостить. Наконец-то не думать о том, чем набить себе брюхо. Дать покой изнуренному слуху. Предаться тому, что случится. Что будет — то благо. Пусть разляжется вольно отвага на нежном шитье покрывала. Ты сейчас не солдат. Разметать свои локоны смело, свободно по свободному воротнику. Раскинуться в креслах. Чтобы пело блаженно все тело, раскинуться — после купанья. И заново постигать, что суть эти женщины. Что за повадка у белых и каковы голубые; и что за ладони у них, и как переливчат их смех, когда пажи светлокудрые, склоняясь под тяжестью чаш, им подносят плоды.

Обедом начиналось. И так неожиданно обернулось балом. Огни мерцали, голоса порхали, звон хрусталя был в песнях, и речах, и в блеске глаз. И все пустились в пляс. По залам бушевало море. Найти себя в приветом милом взоре, там утонуть, исчезнуть, потерять себя и вновь искать по залам, залам, в темный сад бежать и, словно в колыбели, качаться в нежности ветров, дремавшей в них доселе и взбудораженной смятением шелков.

От темного вина и тысяч роз час опрометью мчится в ночь и в сон.

И некто лишь стоит, не смея шелохнуться, боясь очнуться, сна распутать сети; ведь только в снах есть женщины, как эти, из серебра бесед они плетут мгновенья, их каждое движенье, как складка, на парчу легло, и если они руки подымают, то будто розы обрывают там где-то, где и не бывает роз. Ты этого не встретишь въяве — и пусть, и настагает вдруг мечта о славе. Венца давно ждало чело.

Некто в белых шелках понимает, что проснуться он не может; он не спит, он ошарашен, он объят явью. И пугливо он прячется в сон: вот он стоит в парке, он стоит один, он один в черном парке. Бал далеко. Огни обманны, а ночь рядом, она прохладна и близка. И он спрашивает у склоненной к нему женщины:

— Кто ты? Ты — ночь?

И она улыбается.

А ему вдруг стыдно своих белых шелков.

Подальше бы отсюда, снова стоять одному, в годах.

С ног до головы в годах.

— Ты забыл? Ты ведь сегодня мой паж! Ты бросаешь меня? Ты уходишь? Ты мой в этих белых шелках...

— Неужто соскучился по своему шершавому мундиру?

— Замерз? Или по дому тоскуешь?

Улыбается графиня.

Нет. Просто детство вдруг скользнуло с плеч, мягкое, темное платье детства. Но кто же снял его?

— Ты?

И он не узнает собственного голоса.

— Ты!

И вот он уже ничем не облечен. Он стоит как святой. Стройный, голый, светлый.

Постепенно гаснут в замке огни. Всем хочется лечь: все устали, кто влюблен, кто и пьян. После стольких долгих, пустых и походных ночей вдруг — в кроватях. В широких дубовых кроватях. Здесь и молитва — не то что в мерзлой канаве, куда ложишься спать, как ложишься в гроб.

— Да будет, Господи, воля твоя!

Молитва в кровати короче.

Но истовой.

В том покое, в башне, темно.

Но они озаряют улыбками лица друг другу. Ощупью, будто слепцы, они ищут друг друга, как дверь. Они жмутся друг к другу, словно дети перед призраком ночи. Но они ничего не боятся. Что им может грозить? Нет ни вчера, ни потом. Время рухнуло. И они цветут из развалин.

Он не спросит ее: «Кто твой муж?»

Ни она его: «Кто ты?»

Ведь они повстречались во основание нового рода.

Они одарят друг друга тысячей новых имен и опять заберут их себе, тихонько, как вынимают серьгу.

В прихожей на стуле висит портупья, мундир и плащ фон Лангенау. Перчатки валяются на полу. Знамя застыло, приткнувшись к оконной раме. Гроза за окном разрубает ночь в черные и белые клочья. Долгой молнией несется по небу лунный луч, и мечется по полу тень недвижимого знамени. Знамя спит.

Что это? Окно распахнулось? Гроза ворвалась? Отчего так хлопают двери? Кто бродит по дому? Ну и пусть. Все равно. Никому не проникнуть в тот дальний покой. Там, за сотней дверей — огромный сон, двое делят его, и он единит их, как одна мать, как одна смерть.

Неужто утро? И солнце встает? Какое огромное солнце! И птицы? Всюду их гомон.

Светлым-светло, но не день.

Шум и гомон, но это не птицы.

Это светятся балки. Это окна кричат. Крик красный бросают — наружу, вниз, на врага, что мерцает вдали, — кричат:

— Пожар!

И — с обрывками сна на лице, в латах на голое тело, по покоям, по залам, скорей, скорей — вниз во двор.

И — задыхаясь в ознобе — рога:

— Сбор! Сбор!

И дрожь барабанной дроби.

Только знамени нет у них.

Оклик:

Корнет!

Ржанье коней, молитвы, крик.

Уже гневно: Корнет!

Лязг железа, приказ, сигнал.

И — в провал

Тишины: — Корнет!

Еще раз: — Корнет!

И — стремглав, за ворота, мелькание белых, гнедых, воронных.

.

Только знамени нет у них.

Он бежит, он не сдастся пожару на милость, стены, двери, все против него сговорилось, вот и лестница. Вон из безумного зданья. На руках он выносит поникшее знамя, словно женщину — белую, без сознания. Вот мой конь. Поскорей. Это крик, это крик: поскорей, поскорей, от чужих, от своих. И тогда только знамя приходит в себя и царственно реет над ним; и виден в занявшемся дне светлый юноша на коне, но без каски, один, он древко прижимает к груди, он далеко впереди, и они узнают свое знамя...

Но вот знамя стало светиться, качнулось вперед, обагрилось, стало огромное...

.

Знамя пылает в гуще врагов, и они несутся туда, за ним.

Фон Лангенау в гуще врагов, но он совсем один. Он один в очерченном ужасом кольце, под медленно догорающим знаменем.

Медленно, задумчиво даже, он озирается. Все так странно, пестро. «Сады», — думает он и улыбается. Но вот он чувствует на себе цепкие глаза и видит лица, и он узнает, что это поганые псы, — и гонит коня на них.

Кольцо сжимается, смыкается — и тогда это вдруг снова сады, а взмет шестнадцати клинков, гнутых лучей, косых лучей — это снова бал.

И хохочущий водоворот.

Мундир сгорел в замке, и письмо, и чужой розовый лепесток. Весною (она пришла холодная, хмурая) гонец барона фон Пировано медленно вел коня в Лангенау. Там он увидел, как плачет старая женщина.

Стихотворения в прозе

Выставка торговца рыбой

(Неаполь)

На чуть покатою мраморной плите они спят грудями — вон те на смугловатой зелени, постеленной на мокрый камень, а эти в мелких кузовах плетеных, ставших темными от влаги. Покрыта серебристой чешуей, одна из рыбин снизу вверх горбато выгнулась, как рукоять меча в гербе, и серебро на ней мерцает в напряженном блеске. Покрыта серебристой чешуей, другая сверху, где прочие лежат наискосок, как серебро седое, с испода черненное в чекане, в страхе открывает рот, и кажется, что жаждет вырваться из груди. А стоит только раз увидеть этот зев, как обнаружится у той, что бьется суетливо, еще один, исторгший жалобу. (Поскольку рот, откуда звук исходит, пребывает в немоте, название «жалобы» возможно здесь как символ...) И вот, пожалуй в результате размышленья, находим мы глаза. Они плоски, они лежат с боков, как будто скрыты под стекляшкой круглой, глаза, где мчались образы, омытые водой, покуда были зрячи. С тех пор они не изменились — в них такая же тупая безучастность: волне их взгляд известен. Такое ж снулое и плоское вращенье вхолостую, как у вагонных фонарей при свете дня. Но, противостоя волнению стихии плотной, они бросали верно и легко, рисунок за рисунком, намек и перемену на дно сознания, неведомого нам. Уверенно и молча неслись они, приняв однажды твердое решение, запрятанное вглубь. Уверенно и молча каждый день они, бегущей тенью скрыты, боролись против струй, зажавших их в тиски. Но вот теперь они извлечены из долгих прядей созерцанья своего — лежащие плашмя, они иному миру недоступны. Покрытый черной влагою зрачок объят кольцом,

похожим на дымчатое золото фольги. И страшно, словно при укусе резком, узреть непроницаемость тех глаз — и вдруг почудится, что ты стоишь перед сплошным металлом и камнями, увиденными как бы на столе. И все, что выгнуто, глядится как железо, и груды отливающих, как сталь, шилообразных рыб лежит безжизненно и грузно, как груды инструментов, а рядом с ними те, что отшлифованы и смотрятся как камни. Они лежат все тут же, один возле другого: округлые и гладкие агаты в коричневых, белесых и золотых прожилках, бело-румяный мрамор полосами, куски нефрита с огранкою овальной, частично обработанный топаз, горный хрусталь с шипами аметиста, опалы из медузы. Еще на них тончайший слой оставшейся воды, их отрезающий от тех лучей, которым они чужды, они как запертый ларец, который бесполезно было бы пытаться вскрыть.

Saltimbanques*

(Париж, 14 июля 1907)

Между Люксембургским дворцом и Пантеоном снова расположился со своей семьей папаша Роллен. Расстелен тот же ковер, те же поношенные пальто, теплые зимние пальто свалены на стул, где еще так много места, что младший сын, внук старика, время от времени прохаживается по краешку сиденья. Мальчику это нужно, он, как говорится, новичок в стремительном прыжке, когда, выходя из высокого сальто, он приземляется, его ногам больно. Его крупное лицо вот-вот зальют слезы, но они застывают в кромке широко раскрытых глаз. Поэтому он осторожно держит свою голову, словно полную чашу. Он не расстроен, скорее наоборот, если чаша расплескалась бы, он даже не заметил бы этого. Это просто боль, которая плачет, а такое мальчику простительно. Со временем ему станет легче, и боль наконец исчезнет. Отец давным-давно позабыл про нее, и дед тоже вот уже шестьдесят лет не помнит, иначе он не стал бы таким знаме-

* Бродячие акробаты (*франц.*).

нитым. Но взгляни-ка — папаша Роллен, знаменитость всех ярмарок, уже не «работает». Он не размахивает чудовищными гирями и не вымолвит ни словечка — а ведь был речистей всех. Он занят барабаном. В трогательном смиреннии стоит он с отсутствующим выражением на лице атлета, опутанном беспорядочной сетью морщин, из каждой морщины как бы выглядывает груз прошлых напряженных лет. Одетый по-городскому, с вязаным галстуком небесно-голубого цвета на мощной шее, в скромном пиджачке, он отстранился от всех в зените своей заслуженной славы, пребывая в роли, которая, так сказать, не блещет. Но тот, кто в молодости видел его однажды, тот, конечно же, знает, что в этих рукавах таятся знаменитые мышцы, легчайшая игра которых заставляла взлетать гири. Тот прекрасно помнит его мастерскую работу и, перебрасываясь парой слов со своим земляком, показывает на старика, а старик чувствует их взгляды, рассеянно-задумчивые и полные почтения. Она еще, конечно, при мне, эта сила, молодые люди, думает он; и уж коли ее больше нет в руках, значит, она ушла в корни; она где-нибудь еще здесь, это целая глыба. И для барабана ее хватает с лихвой. И он колотит. Однако барабанит чаще, чем надо. Зять свистит ему и машет рукой; старик не ждет награды для барабанной тирады. Испуганный, он прерывает дробь на середине, поводит могучими плечами в свое оправдание и не спеша переступает с ноги на ногу. Но вот уже нужно остановиться. Черт возьми. Папаша! Папаша Роллен! Он вновь забарабанил. Ему едва ли это понять. Он мог бы барабанить без конца, пусть не думают, что он выдохся. Но вот выступает его дочь: она находчива и напориста, работает без сучка и без задоринки и потешается над всеми. Она теперь взяла дело в свои руки. Это приятно. Зять, конечно, работает хорошо, ничего не скажешь, с огоньком, как положено. Но у нее это в крови, сразу видно. Такой надо родиться. Она готова. Музыка, кричит она. И барабан старика громыкает, будто тот играет на сорока барабанах. Папаша Роллен, эй, папаша Роллен, кричит кто-то из зрителей, пробравшийся только что вперед и признавший его.

Но старик походя только кивнул головой. Барабанная музыка — дело чести, а честь он строго блюдет.

Заклятие грозы

(Написано для Регины Ульман)

ГРОЗА гроза

чего тебе надо у нас, где сплошная нужда, где судьба-лихондейка, где загадочны души?

что ты над этим домом, где мы уже не уверены в завтрашнем дне, где мы только беженцы, живущие в бегстве, вошедшем вместе с тобой? что ты над нами, усталыми, потерявшими дух в тревожных полях? чего тебе надо от дерев, живущих дольше, чем самый древний старец среди нас? Какое право у тебя на тех, кто их посадил? Зачем ты старца прерываешь в его воспоминанье неустанным? А мы, живые, восседаем равнодушно здесь и копим наши силы тяжким грузом в плечах и сидим без дела, покуда ты в деянье. И дети пробудились, они удивлены, и эта ярость в воздухе, которой мать не может объяснить им. Она прижмет их крошечные лица к своим коленям поочередно, но каждое лицо *знает*, что лучше уже не будет.

Гроза гроза, чего тебе надо здесь, где хватает всего и ты не нужна никому? Здесь жизнь и временами смерть. Здесь глыбы горя и крохи радости в каком-нибудь ларе. Всего у нас в избытке, могу тебя уверить, — разрухи тоже, пепла в очаге и также шелухи картофельной. И половиц скрипучих, и мрака под ступеньками, всего, что брэнно. Пусть сильный к сильным примыкает, вечный Боже, минуй нас.

Гроза, гроза, ступай к Марии деве (о ней ты знаешь?), стань такою крепкой, как ты можешь, она тебя полюбит, ибо она крепче, чем ты. Она играть начнет с тобой и не заметит, что ты страшна, — ведь Пресвятая дева крепче. Она тебя на длань возьмет, как большущего шмеля, тебе позволив жалить, но это будет не страданье в длани девы, а благо в твоём жале...

Люди-сэндвичи*

(Париж, церковь Сент Этьен-дю-Мон)

Застывшие на фоне послеполуденной зимней хмари в своем багряно-желтом превосходстве, они были видны мне в стенном крестце Пантеона — отставленные в сторону рекламные щиты людей-сэндвичей с длинными и костлявыми, как у комаров, ногами. Сумрак вынудил меня поднять глаза на фасад церкви Сент Этьена, только там, на чудесном инструменте этого здания серый цвет играл во всех потаенных тонах. На лестнице сидели нищенки, одна из них на самой нижней ступеньке, выше другая, с малышкой на руках, у входа в церковь повис на костылях дряхлый папертник. Я вошел, и первое, что мне бросилось в глаза,— стоявшие у рекламных щитов мужчины. Все разного роста, они вытянулись один за другим в заношенных светло-голубых пиджаках; пять-шесть патлатых грязных голов, словно извлеченных на белый свет из помоек приبلудными псами и насаженных на изогнутую суконную консоль рыжих воротников уродливой униформы, протертой до дыр. Музыка набирала силу и взлетала ввысь под своды храма; за красивой замыкающей хоры каменной оградой все сверкало и переливалось от золота и свечей, в лучах лениво плавали тысячи мглистых пылинок. Священник торжественно правил требу в пространстве, раздвинутом архитектурой и удлинёнными тенями, на щеках мальчиков из хора то и дело вспыхивал румянец, и тот, кто был утомлен совершавшимся действием, уносил свой взгляд мимо колонн и свода в сумрак, пронизанный светом, проникающим сквозь старый витраж. Ныне и присно царила сама себя возвышающая музыка: она проникала в эти сердца, чтобы возвысить их, согреть чувства, и возвращала к мыслям о себе... Зачем чувства? Что за мысли? Память о прошлом. Но что такое память о прошлом без будущего? Один из людей-сэндвичей, огромного роста, выглядел не так уж скверно: характерная голова, как сказали бы прежде, нос, красиво продолжающий непрерывную ли-

* Люди с рекламными щитами, повешенными на груди и спине.

нию ото лба, соразмерность губ с бородой и усами, как на римском бюсте. Можно спросить: судьба, способна ли ты напомнить себе, чем ты здесь, собственно, занята? Почему ты не сумела достичь большего? Стыдно, судьба, у тебя должны были бы быть средства к цели... Он чувствует, что его кто-то рассматривает, но я отвожу взгляд, ему меня не видно в общей массе, и он снова успокаивается, огромный, в униформе из засаленной голубизны. Боже правый, а тот, маленький, по-человечески жалкий, втянул голову в плечи. Что происходило в нем? Эти пять-шесть людей-сандвичей, призови их небеса к ответу, принесли на землю ложь, несмотря на церковную музыку и таинственный полумрак, царящий в рождественской атмосфере. Возвращаясь, я заметил снаружи еще несколько людей-сандвичей, стоявших у рекламных щитов, им явно не о чем было вспомнить. Но праведники, возжаждай они однажды испытать себя в этой толчее, не оказались бы участниками чудесного перевоплощения, войди они в храм? Как мне хотелось, чтобы эти шестеро стоявших у входа в церковь с помощью подобного прощения стояли бы рядом с теми шестерыми под сводами храма; это была форма видения, зависевшая от способности средневековья вернуть миру гармонию.

Клетка льва

Она ходит и ходит из стороны в сторону, как часовой по краю крепостного вала, где больше ничего нет. И, как в часовом, в ней тоска по дому, в осколках памяти гнетущая тоска. Подобно тому как на морском дне должно быть зеркало, зеркало из каюты затонувшего корабля, зеркальные осколки, которые, конечно, в любом случае ничего не отражают: ни лиц пассажиров, ни их жестов, ни манеры поворачиваться перед зеркалом и как-то неуклюже выглядеть со спины; ни стены, ни угла, где отдыхалось; еще меньше могут отражать то, что освещено зыбким светом снаружи и сверху;

ничего, никого. Но подобно тому, как в тех осколках, может быть, появляются двойники водорослей или осевшей тинистой жижи, или внезапный двойник рыбьей головы, или двойник самих водных струй, текучих, мутноватых, вновь скопляющихся струй, далекие, искаженные, неверные и тут же снова исчезающие двойники того, что однажды было, — так воспоминания, треснувшие осколки воспоминаний покоятся на темном дне ее крови.

Она ходит и ходит из стороны в сторону вокруг него — льва, который болен. Хворь не раздражает и не унижает его: она только делает его одиноким. Когда он так лежит, мягко выпуская когти без всякого умысла, запрокинув высокомерную морду с потрепанной гривой и потухшими глазами, он восстанавливает для себя в памяти собственную скорбь о том, как однажды (вечно преодолевая себя) переоценил свои силы.

И вот теперь дрожь проходит по его мышцам то тут, то там, и они наливаются с тугим напряжением, то тут, то там появляются вдали друг от друга крошечные зародыши злобы; желчная кровь толчками вырывается из сердца, и ее осторожный испытанный ток по жилам полнится внезапной решимостью, когда она поступает в мозг.

Но он смирился с тем, что происходит, поскольку это еще не конец, и он больше ничего не просит и остается ко всему безучастен. Только вдали от него — маленькая кисточка хвоста, ее полукруглое движение выдает в нем неопишное презрение. Это движение настолько значительно, что львица останавливается и наблюдает — тревожно, взволнованно, выжидающе.

Но затем она снова принимается ходить безотрадной и забавной поступью часового, вечно возвращающегося на следы свои. Она ходит и ходит и порой показывает рассеянную маску, круглую и грузную, разлинованную прутьями решетки.

Она ходит, как ходят часы, и на ее морде, как на циферблате, означен таинственно близкий час: час ужаса, когда кто-то умирает.

Приложение

Письмо к другу (À une amie)*

Я приблизительно покончил сейчас со всеми предработами — говорю об ужасающем заторе своей переписки — подумайте (я только что подсчитал их сегодня утром) — я написал сто пятнадцать писем, но ни в одном не было меньше четырех страниц, а во многих восемь и даже двенадцать довольно сжатым почерком. (Я, конечно, не считаю всего пошедшего к Вам, это не писанье, это дыхание через перо...) Сколько писем! ведь столько людей, которые ждут от меня — не совсем даже знаю чего — помощи, совета, — от меня, такого беспомощного перед самыми властными требованиями жизни! — и хотя я прекрасно знаю, что они ошибаются, обманываются, — у меня все-таки искушение (и не думаю, что это было бы из тщеславия) сообщить им некоторые свои итоги — некоторые плоды моих длительных уединений. И женщины и девушки, ужасающе одинокие в самом сердце семьи, — и юные новобрачные, испуганные тем, что с ними случилось... — и еще все эти молодые люди из рабочих — в большинстве революционеры, — сбитые после тюрьмы со всякого толку и ныне сбившиеся на «литературу», сочиняя стихи каких-то злостных пропойц, — что им сказать? Как приподнять их отчаявшееся сердце, как выпрямить их искаженную волю, принявшую под давлением событий характер заемный и совершенно случайный и несомую ими ныне в себе как постороннюю силу — почти неизвестного им назначения?

* Это письмо обращено к Францу Ксаверу Каппусу, лейтенанту австрийской армии. (Примечание М. Цветаевой.)

Опыт Мальте заставляет меня иногда отвечать на эти крики незнакомых, он-то бы ответил, если бы когда-либо чей-либо голос до него дошел,— и он оставил мне как бы целое наследие действия, которое я не мог бы ни направить, ни истратить на иное, чем любовь. Он-то и заставляет меня продолжать это служение, он-то и просит меня любить каждую вещь, которую хочу создать, всеми моими возможностями любви. Вот неотразимая сила, завещанная мне им. Представьте себе Мальте, который бы он в этом, столь ужасном для него Париже, имел бы подругу или даже друга. Разве он вошел бы тогда так глубоко в доверие вещей? Ибо каждая ведь (так он мне часто говорил в наших нескольких близких беседах), насущную жизнь которой Вы хотите передать, сперва Вас спрашивает: — Свободен ли ты? Готов ли ты посвятить мне свою любовь, лечь со мной, как св. Юлиан Милостивый лег рядом с прокаженным, возвращая ему то бессмертное объятие, для которого мало простого преходящего милосердия, но двигатель которого — любовь, которая есть на земле? — Если же вещь видит (так мне говорил Мальте),— если же вещь видит, что Вы заняты — будь то хоть частицей Вашего внимания,— она закрывается; она еще сообщает Вам, может быть, пароль, подает Вам мимоходом легкий дружественный знак (что уже много для смертного, замкнутого между смертных)... но отказывается дать Вам все свое сердце, доверить Вам свою терпеливую сущность, свое тихое звездное постоянство, так роднящее ее с созвездиями!

Для того чтобы вещь Вам говорила, Вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью Вашей любви по самой середине Вселенной и на этом несравненном месте обслуживаемое в тот день ангелами. То, что Вы, мой друг, сейчас читаете,— один из уроков мне Мальте (моего единственного друга за столькие годы страданий и искушений!), и я вижу, что Вы то же самое говорите, точь-в-точь, когда говорите о Ваших работах карандашом и кистью, ценных для Вас только как любовный договор, где

кисть или карандаш только осуществляют объятие, нежное вступление во владение.

Не пугайтесь этого слова «судьба» в моем последнем письме: я зову судьбою все внешние события (включая болезни, например), которые неизбежно могут прервать и уничтожить данное состояние духа или устремление души, одинокое по своей природе. Сезанн это отлично понимал, когда последние тридцать лет своей жизни удалялся от всего, что, по его выражению, могло бы «наложить на него лапу», и когда, при всей своей набожности и преданности традициям, упорно отказывался идти на похороны матери, чтобы не потерять рабочего дня. Когда я это узнал, это пронзило меня как стрелой, но пламенной стрелой, которая, пронзая мне сердце, оставляла его в пожаре яснозрения. Мало в наши дни художников, понимающих это упрямство, это страстное упорство, но, думается мне, без него мы навсегда останемся на периферии Искусства, правда, уже достаточно богатой, чтобы разрешить нам то или иное приятное открытие, — но не более, чем игроку за зеленым столом — пусть временами удачливому, но все же подверженному случаю, этой послушной и ловкой обезьяне закона.

.

Мне часто приходилось отбирать книжку Мальте у молодых людей, запрещая им его читать. Ибо эта книга, конечная цель которой — как будто бы доказать невозможность жизни, должна быть читаема, я бы сказал, *против собственного течения*. Если в ней горькие упреки — они относятся не к жизни: наоборот, это непрерывное подтверждение, что только по слабости, по рассеянности и по вине наследственных заблуждений мы почти целиком теряем несметные богатства, нам здесь уготованные.

Попытайтесь, моя дорогая, пробежать переполненность этих страниц по этому руслу — это не избавит Вас от слез, но, может быть, сообщит всем Вашим слезам значение более ясное и, я бы сказал, прозрачное.

19 октября 1907

Ты, конечно, помнишь... то место из записок Мальте Лауридса, где речь идет о Бодлере и о его стихотворении «Падаль». Я пришел к мысли, что без этого стихотворения не был бы начат путь к той трезвой точности, которая сейчас, как нам кажется, найдена у Сезанна; сперва должно было явиться это стихотворение во всей его беспощадности. Художественное созерцание должно было так решительно преодолеть себя, чтобы даже в страшном и, по видимости, лишь отвратительном увидеть часть бытия, имеющую такое же право на внимание, как и всякое другое бытие. Как нам не дано выбора, так и творческой личности не позволено отворачиваться от какого бы то ни было существования: один-единственный самовольный отказ лишает художника благодати и делает его вечным грешником. Флобер, который с такой бережностью и добросовестностью передал легенду о Юлиане Странноприимце, подарил ей эту простую достоверность чуда, потому что художник в его душе сам обладал решимостью святого и радостно соглашался со всеми его поступками. Лечь в одну постель с прокаженным, отдать ему свое тепло, даже тепло сердца и ночей любви,— все это должно когда-нибудь произойти и в существовании художника как преодоление во имя высшего блаженства. Тебе легко понять, как меня трогает, когда я читаю, что Сезанн именно это стихотворение — «Падаль» Бодлера — помнил наизусть вплоть до последних лет своей жизни и читал на память от первого до последнего слова. Конечно, среди его ранних работ можно найти и такие, в которых ощутима почти безмерная любовь,— с такой силой ему удалось в них преодолеть себя. За этим смирением — сперва с малого — начинается святость, простая жизнь любви, которая все выдержала, которая, не похваляясь этим, нашла путь ко всему, одино-

* Письмо адресовано жене поэта, Кларе Рильке.

ко, незаметно, бессловесно. Настоящая работа, со всей полнотой ее задач, начинается лишь после этой победы, а тот, кто не достигнул этого рубежа, тот, быть может, увидит в небе Деву Марию, кого-нибудь из святых и малых пророков, царя Саула или Charles le Téméraire*, но о Хокусаи и Леонардо, Ли Бо и Вийоне, о Верхарне, Родене, Сезанне — и о самом Господе Боге и там узнает лишь по рассказам.

И вдруг (и притом впервые) я постигаю судьбу Мальте Лауридса. Разве вся суть не в том, что это испытание превысило его силы и он не справился с ним в действительной жизни, хотя мысленно он был убежден в его необходимости, настолько убежден, что он долго инстинктивно искал его, пока оно само не подступило к нему и больше его не оставляло? Вся книга о Мальте Лауридсе, когда она будет написана, будет не чем иным, как доказательством этой истины на примере человека, для которого она оказалась слишком непомерной. Быть может, он даже выдержал его: ведь он написал о смерти камергера; но, как Раскольников, растратив всего себя в этом поступке, он отшатнулся, не действуя в тот момент, когда как раз и должно было начаться настоящее действие, а новообретенная свобода обернулась против него и растерзала его, беззащитного...

Лу Андреас-Саломе**

Ворпсведе у Бремена, 18 июля 1903

Я хотел бы сказать тебе, дорогая Лу, что в Париже я испытал нечто похожее на то, что и в военном училище; как

* Карла Смелого.

** Автор книги воспоминаний о Рильке, немецкая писательница, дочь немецкого генерала, служившего в России. Рильке познакомился с ней в 1897 году, они совершили вместе два путешествия в Россию. Дружба с Лу Андреас-Саломе сохранилась у Рильке на всю жизнь, между ними поддерживалась переписка.

тогда меня охватило громадное гнетущее изумление, так и теперь на меня снова напал ужас перед всем тем, что в каком-то невыразимом заблуждении зовется жизнью. Тогда я был мальчиком среди мальчиков, я был одинок среди них; но как одинок был я теперь среди этих людей, как отрицало меня постоянно все, что встречалось на пути; экипажи проезжали сквозь меня; те, что спешили, не старались объезжать, а катили, исполненные презрения, прямо через меня, как через выбоину, в которой скопилась застоявшаяся вода. Перед сном я перечитывал 30-ю главу из Книги Иова, и все это было правда, все обо мне, слово в слово. А ночью я вставал и отыскивал мой любимый томик Бодлера — *petits poèmes en prose** — и читал вслух самое прекрасное стихотворение, озаглавленное: “*A une heure du matin***”. Знаешь ты его? Оно начинается так:

*Enfin! seull on n’entend plus que le roulement de quelques fiacres attardés et éreintés. Pendant quelques heures nous posséderons le silence, sinon le repos. Enfin! la tyrannie de la face humaine a disparu et je ne souffrirai plus que par moi même...****

И заканчивается оно величаво, оно встает, и движется, и завершается как молитва. Это молитва Бодлера, настоящая, простая молитва, рукотворная, неловкая и прекрасная, как молитва русского человека. Бодлер шел к ней долгим путем, продвигаясь порой на коленях и ползком. Он так далек от меня во всем, он один из самых чуждых мне; часто я едва понимаю его, и все же иногда, глубокой ночью, когда я повторял его слова, повторял, как ребенок, он становился мне близок, жил рядом, бледный, стоял он там, за тонкой стенкой, прислушиваясь к моему затихающему го-лосу.

Какая редкостная общность возникала тогда между на-

* Стихотворения в прозе (франц.).

** «В утренний час» (франц.).

*** Наконец-то! один! Не слышно ничего, только рокот нескольких поздних, заблудившихся фиакров. Еще несколько часов, и нами овладеет тишина и покой. Наконец-то! Не тиранит меня больше вид человеческих лиц, и страдаю я только от самого себя... (франц.).



Рильке, Дрожжин и Лу-Андреас Саломе в Новинках

ми, участью каждого из нас была одна и та же бедность и, вероятно, один и тот же страх.

О, этот мой страх воздвигали тысячи рук, он был захолустной деревней и стал городом, большим городом, в котором творится несказуемое. Он рос все это время, лишая тихой зелени мои чувства, и теперь в них больше ничего не произрастает. Уже там, в Вестерведе, рос этот страх и в нем дома и переулки, возникавшие из гнетущих обстоятельств, в нем протекали целые часы. А когда наступил Париж, страх быстро принял огромные размеры. Я приехал туда в прошлом году в августе. То было время, когда все деревья в городе уже увядают, хотя еще нет осени, когда раскаленные переулки вытягиваются от жары и становятся бесконечными, и сквозь густые запахи проходишь, как сквозь множество печальных комнат. Я шел вдоль длинных больниц, их ворота были распахнуты с выражением нетерпеливого и хищного милосердия. Когда я впервые проходил мимо Hôtel-Dieu, туда как раз въезжала открытая пролетка, в ней лежал человек, покачивавшийся от каждого движения, лежал перекошенно, как сломанная марионетка, с тяжелым нарывом на длинной, серой, свисающей шее. И каких только людей не встречал я с тех пор. Обломки кариатид, над которыми еще тяготела вся мука, все здание муки, и под его тяжестью они шевелились медленно, как черепахи. Они были прохожими среди прохожих, оставленные каждый наедине со своей судьбой. Их воспринимали в лучшем случае как впечатление и наблюдали за ними с деловитым, спокойным любопытством как за некоей новой породой животных, у которых нужда развивала особые органы — органы голодания и органы умирания. Их покрывала безнадежная, блеклая расцветка — мимикрия большого города, и они выживали под пятой дня, который топтал их, как живучих жуков, они выдерживали все так, словно им нужно было еще чего-то дожидаться, они подрагивали, словно куски рассеченной рыбы, уже загнивающей, но все еще живой. И они жили, жили ничем, пылью, и копотью, и грязью на своих покровах, жили тем, чего недоедали собаки, жили какой-нибудь бес-

смысленно разломанной вещью, которую все же еще может купить кто-нибудь неизвестно зачем. О, какой это был мир! Куски, куски людей, части животных, остатки бывших вещей, и все это еще в движении, словно гонимое каким-то зловещим ветром, несущее и носимое, падающее и само себя в падении перегоняющее.

Там были старухи, опускающие тяжелые корзины на какой-нибудь выступ стены (маленькие женщины с глазами, высохшими, как лужицы), — и когда они опять их подхватывали, то из рукава медленно, обстоятельно высовывался длинный ржавый крючок — взамен руки — и прямо и уверенно устремлялся к ручке корзины. Были еще и другие старухи, они расхаживали, держа в руках выдвижные ящики от старой тумбочки, и показывали всем — в них валялось десятка два ржавых булавок, которые нужно было продать. Однажды осенним вечером я увидел в свете витрины стоявшую рядом со мной маленькую старушку. Она стояла молча, и я подумал, что она, так же как я, рассматривает вещи, разложенные в витрине, и не стал обращать на нее внимание. Но потом я почувствовал, что ее близость меня тревожит и, уж не знаю почему, внезапно посмотрел на ее изнуренные руки, сложенные совсем необычно. Медленно-медленно выдвигался из этих рук старый, длинный, тонкий карандаш; он все рос и рос, и прошло очень много времени, пока он стал виден весь во всем своем убожестве. Я не могу объяснить, что именно в этой сцене вызывало ужас, но у меня было такое чувство, будто передо мной разыгрывается целая судьба, долгая судьба, катастрофическая, ужасающе нараставшая до того мгновения, когда карандаш перестал удлиняться и, едва-едва подрагивая, вздымался от одиночества этих пустых рук. В конце концов я понял, что должен был его купить.

А потом эти женщины, быстро проходящие мимо, в долгополых бархатных мантиях восьмидесятых годов, с бумажными розами на старых шляпках, из-под которых волосы свисают будто сплавленные. И все эти люди, мужчины и женщины, которые словно откуда-то и куда-то переходят, может

быть, от безумия к исцелению, а может быть, совсем напротив, именно к сумасшествию; у всех в лицах нечто беспредельно тонкое, не то любовь, не то знание или радость, словно бы свет, лишь чуть-чуть потускневший и беспокоящийся; он мог бы опять стать ясным, если бы хоть кто-нибудь пригляделся к ним и помог... Но нет, никто не помогает. Никто не помогает им — тем, кто еще лишь совсем немного смущен, испуган или оробел; тем, кто лишь начинает видеть предметы по-иному, чем они задуманы; тем, кто еще целиком живет все в том же мире и только идет словно бы немного вкось и поэтому думает, будто предметы нависли над ним; тем, кто в городах не чувствует себя дома и теряется в них, как в зловещих беспредельных лесах,— всем тем, кто ежедневно терпит страдания, всем, кто в шуме не слышит шага собственной воли, всем, кого страх уже перерастает,— почему же никто не поможет им в этих больших городах?

Куда идут они, когда так поспешно проходят по улицам? Где спят они, и если не могут уснуть, что проплывает тогда перед их печальными глазами? О чем они думают, просиживая целыми днями в городских садах склонив голову на руки, которые словно бы сошлись из разных далей, чтобы спрятаться друг в дружке? И какие слова говорят они сами себе, когда их губы смыкаются и движутся? Сплетают ли они еще настоящие слова?.. А то, что они говорят,— это еще фразы или из них все вырывается уже в полном смятении, как из горящего театра, все, что в них было зрителем и артистом, слушателем и героем? Неужели никто не думает о том, что в них есть детство, которое гибнет, и сила, которая увядает, и любовь, которая рушится?

О, Лу, как я мучился, мучился день за днем. Потому что я понимал всех этих людей, и хотя я далеко обходил их, но у них не было тайн от меня. И меня выталкивало из меня самого и вталкивало в их жизнь, проталкивало сквозь их жизни, сквозь все их обремененные тяготами жизни. И мне часто приходилось говорить себе вслух, что я не один из них, ведь я снова уйду из этого ужасного города, в котором они умрут; я говорил это себе и чувство-

вал, что это не обман. Но все же, когда я замечал, что моя одежда с каждой неделей становилась все хуже и все тяжелее, и видел, что она уже во всех местах прохудилась, я пугался и чувствовал, что безнадежно обречен стать одним из этих отверженных, едва лишь какой-нибудь прохожий, поглядев на меня, почти безотчетно причислит меня к ним. Каждый мог низвергнуть меня к ним одним лишь мимоходным суждением пренебрежительного взгляда. И разве не был я все же одним из них, ведь я так же беден, как они, и так же полностью противоположен всему, что других людей занимало, и радовало, и морочило, и обманывало? Разве я не отрицал всего, что вокруг меня считалось действительным, — и разве не был я, по сути дела, бездомным, вопреки видимости комнаты, в которой я чувствовал себя таким чужим, словно делил ее с кем-то вовсе незнакомым? Разве не голодал я так же, как все они, у накрытых столов, уставленных яствами, которых я даже не пробовал, потому что они не были ни чистыми, ни простыми, как те, что я любил? И разве я так же, как эти люди, не отличался от большинства окружающих уже тем, что не пил вина и никакого иного одурманивающего напитка? И разве не был я так же прозрачен, как те одинокие, лишь извне чуть притемненные испарениями и тяжестью этого города и хохотом, который поднимается, как чад, от его плохих очагов? Ничто не было менее похожим на смех, чем смех этих отчужденных; когда они смеялись, это звучало так, будто у них внутри что-то падало и разбивалось и заполняло их осколками. Они были серьезны, и эта серьезность наваливалась на меня подобно силе тяжести и тянула вниз, в глубину, к самому центру их убожества...

Если бы из тех страхов, которые я испытывал, я умел что-либо делать, если бы я мог создавать из них вещи, настоящие тихие вещи — создавая их, становишься веселым и свободным, а созданные, они излучают покой, — тогда бы со мной ничего не случилось. Но эти страхи, которые обрушивал на меня каждый день, вызывали сотни других страхов, и все они восставали против меня, сговариваясь между

собой, и я уже не мог от них вырваться. Стараясь их выразить, я начинал творить их самих, и вместо того, чтобы преобразовать их в вещи, созданные моей волей, я придавал им жизнь, их собственную жизнь, которую они обращали против меня же и преследовали меня до глубокой ночи. Если бы я чувствовал себя лучше, спокойней, дружелюбней, если бы моя комната была моей союзницей и останься я здоровым, тогда, может быть, я все же сумел бы создавать вещи из страха.

Однажды мне это удалось, хотя и ненадолго. Когда я был в Виареджо; правда, там вырвалось наружу куда больше страхов, чем раньше, и они одолели меня. И было слишком много моря, никогда не умолкавшего, заливавшего меня шумом своих весенних волн. Но все же там это пришло. Там возникли молитвы, книга молитв*. И мне это необходимо сказать именно тебе, Лу, ведь в твоих руках покоятся мои первые молитвы, о которых я так часто думал и так часто находил в них поддержку из далека. Потому, что они так полновочны, и потому, что им так покойно у тебя (и потому, что о них никто, кроме тебя и меня, не знает),— потому я мог найти в них опору. И мне хотелось бы иметь право приехать и приложить другие молитвы, которые возникли с тех пор, к тем, к твоим, в твои руки, в твой тихий дом.

Ты пойми, я чужестранец и бедняк. И я пройду; но в твоих руках должно остаться все, что однажды могло бы стать моей родиной, если бы я был сильнее.

Райнер

Лу, видела ли ты мои книги: ту, что о Ворпсведе, и другую, о творчестве Родена? Хочешь их перелистать? А у тебя вышла новая книга? Могу я ее прочесть?

* Рильке имеет в виду третью часть «Часослова» («Книга о бедности и смерти»); «Первые молитвы», о которых дальше говорит Рильке, это первая часть «Часослова» («Книга о монашеской жизни»), написанная в конце 1899 года после первой поездки в Россию.

Содержание

- 5 *Н. Литвинец*. Предисловие
- 19 Записки Мальте Лауридса Бригге. *Перевод Е. Суриц*
- 182 Победивший дракона. *Перевод А. Карельского*
- 187 Пьер Дюмон. *Перевод Г. Ратгауза*
- 194 Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке.
Перевод Е. Суриц
- 204 Стихотворения в прозе. *Перевод А. Солянова*
- Приложение.
- 211 Письмо к другу (Å upe aпиé). *Перевод Марины Цветаевой*
- 214 Из «Писем о Сезанне». *Перевод Г. Ратгауза*
- 215 Лу Андреас-Саломе. *Перевод И. Рожанского*

Рильке Р. М.

Р50 Записки Мальте Лауридса Бригге: Роман. Новеллы. Стихотворения в прозе. Письма/ Пер. с нем. Сост. и предисл. Н. Литвинец. — М.: Известия, 1988. — 224 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В сборнике представлена проза Рильке: роман «Записки Мальте Лауридса Бригге», «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», ранние рассказы, стихотворения в прозе, письма.

Р $\frac{470300000-015}{074(02)-88}$ 68—88

ББК. 84.4А
И (Австр)

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ
ЗАПИСКИ МАЛЬТЕ ЛАУРИДСА БРИГГЕ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1206

Сдано в набор 01.06.87. Подписано в печать 14.01.88. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 10,73. Тираж 50 000 экз. Зак. № 646. Цена 95 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Райнер Мария Рильке

(1875—1926) — крупнейший австрийский поэт. Способность воспринимать культурные ценности разных эпох и народов, духовная широта, острота видения позволили Рильке стать продолжателем великих традиций европейской литературы. Для советского читателя особенно привлекательна привязанность Рильке к русской культуре, к России, которую он до конца жизни называл своей "духовной родиной".

